

Г. И. АБЕЛЕВ

ДРАМАТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОТДЕЛА ВИРУСОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ ОПУХОЛЕЙ*

Автор статьи и его коллега, заведующий лабораторией химии и биосинтеза антител А. Е. Гурвич пропустили в Институте им. Гамалеи Ученый совет, на котором разбиралось «дело» сотрудника, подавшего заявление на эмиграцию в Израиль. Сотрудник был уволен, а над героями начали сгущаться тучи. Г. И. Абелев был вызван на «ковер» к директору института О. В. Барояну и его заместителю Д. Г. Каулену для нелестного разговора.

Аналогичный моему разговор с Кауленом, а потом с Барояном был и у Гурвича. Было ясно, что ничего хорошего нас не ждет.

Вечером в лаборатории у А. Е. мы с ним выпили — не за то, чтобы все обошлось, обойтись оно не могло, а за то, чтобы хоть как-то выйти из предстоящих испытаний, сохранив человеческое лицо.

Бароян больше со мной не говорил. Он приступил к действиям. 4-го или 5-го ноября состоялось закрытое партийное собрание, на котором присутствовали наши партийцы, старшие научные сотрудники бывшей лаборатории Л. А. Зильбера А. И. Гусев, К. В. Ильин и З. А. Постникова. Бароян в докладе и прениях говорил о предстоящей реорганизации института и называл в связи с этим наш отдел. Потом он заявил, что в отделе то ли «дух снобизма», то ли «изоляция», — я сейчас не могу точно вспомнить, — и что он усиленно думает над нашей реорганизацией. Наши партийцы отмалчивались, не считая нужным, как они думали, «поддаваться на провокацию». Но Бароян сам «вытащил» Гусева и требовал от него критики отдела.

Толя не понимал, в чем дело, но сказал, что о реорганизации отдела он слышит первый раз и что в отделе есть заведующий, с которым и следует говорить об этом. Бароян отвечал, что «заведующий не ходит на Ученые советы», и вел себя откровенно издевательски.

Когда я узнал о собрании, мне стало очень обидно, что наши партийцы не нашлись, что сказать в защиту отдела. Но и винить никого было нельзя. В институте все боялись Барояна, знали его силу и полную беспощадность при малейшем сопротивлении, его виртуозную демагогию, да и все случившееся было для них совсем неожиданным.

Я полагал, что любая реорганизация отдела должна, пусть формально, получить санкцию Ученого совета, где хотя бы для приличия должен был быть поставлен мой отчет за пять лет заведования после смерти Л. А. Зильбера. Я думал, что в этом отчете смогу и показать работу отдела, и предложить свои меры реорганизации для его большей стабильности, и, уж во всяком случае, показать бессмысленность его возможной ликвидации.

* Окончание. Начало см.: ВИЕТ. 2002. № 1. С. 136–158.

Но сразу после праздников, утром 9-го ноября, ко мне в кабинет прямо с автобуса пришли В. А. Артамонова и И. Н. Крюкова и рассказали, что сейчас они ехали в институт вместе с П. А. Вершиловой¹, бывшей тогда заместителем академика-секретаря нашего отделения В. Д. Соловьева, которая сказала им, что вопрос о реорганизации нашего отдела обсуждался недавно на отделении АМН, и оно одобрило предложение Барояна разделить отдел на две лаборатории. Я не помню точно аргументов в пользу такого разделения, но, кажется, это было «помочь Абелеву и дать возможность развернуться Шевлягину», который с 1969 г. заведовал зильберовской лабораторией. Во всяком случае, эти аргументы впоследствии много раз повторялись. Это решение было равносильно ликвидации и развалу отдела, потому что вирусология и иммунология в отделе представляли единое целое, а в бывшей зильберовской лаборатории не было достаточно авторитетного человека, способного ее объединить и поддерживать необходимую рабочую обстановку.

Я немедленно позвонил Полине Альбертовне, спросил, правда ли то, что мне сказала Артамонова, и, полный возмущения, спрашивал у нее:

«Как же вы могли, Полина Альбертовна, без обсуждения, без комиссии, без моего отчета, без Ученого совета, за моей спиной так просто решить вопрос о судьбе отдела?!»

П. А. упорно повторяла только одно: «Директор согласовал это со всеми инстанциями. Пожалуйста, никому не жалуйтесь. Все уже решено и согласовано. Ни к кому не обращайтесь, никуда не пишите. От этого будет только хуже. Бароян очень резко настроен. Ничего ведь страшного не случилось. Единственное, что вы можете сделать, — это поговорить с Барояном, попросить его, может быть, он смягчит свое решение».

Я не мог просто так смириться с этой глупостью и тут же написал докладную записку Барояну с просьбой поставить на Ученом совете мой отчет за пять лет в связи с предполагаемой реорганизацией отдела. Я не терял надежды сделать эту реорганизацию гласной и потому невозможной или уж, по крайней мере, открыто насильственной.

В этот же день (или на следующий) мне позвонила Анна Борисовна Линник из института Блохина и попросила подготовить и организовать «дискуссию круглого стола» по иммунологии опухолей на предстоящем II Всесоюзном онкологическом съезде.

Это предложение звучало таким диссонансом ко всему происходящему, и я заорал, что «в эти бирюльки играть не буду, и о чем могут быть дискуссии, когда единственный отдел, работающий по иммунологии опухолей, у всех на глазах разгоняют, и всем наплевать, а я буду играть в игрушки». А. Б. очень изумилась, сказала, что ничего не знает и ничего у себя в институте не слышала. Это было действительно так, и А. Б., которая оказалась очень милым и симпатичным человеком, подняла тревогу в Институте онкологии. Вскоре мне позвонил Юра Васильев² и попрекнул, что надо бы держать в курсе своих товарищей, и просил меня быть на семинаре в университете на следующий день.

10-го утром никакой реакции дирекции на мою докладную не было. Я пытался узнать ответ и хотел попасть на прием к Барояну. Вскоре я был вызван к нему.

В кабинете был полный сбор. За столом сидел Бароян, рядом с ним с папкой бу-

¹ Полина Альбертовна Вершилова — академик АМН СССР, руководитель лаборатории в Институте им. Н. Ф. Гамалеи.

² Профессор Ю. М. Васильев — руководитель лаборатории механизмов канцерогенеза в Институте экспериментальной и клинической онкологии АМН СССР.

маг — начальник отдела кадров А. П. Никитин, который что-то записывал или дописывал. Перед столом — полукругом — заместители директора В. Е. Коростелев, Д. Р. Каулен, И. Ф. Новицкий, секретарь партбюро Б. Е. Карулин, председатель месткома Л. Грачева и, кажется, кто-то ещё.

Бароян обратился ко мне строго и официально, «на вы», что с ним бывало только в крайне неприятных для собеседника ситуациях, и предложил сесть в отдалении напротив.

— Я получил ваши докладные. Мы подготовили приказ. Никитин, дайте я прочту:

«Отдел вирусологии и иммунологии опухолей упразднить.

На базе отдела вновь организовать две новые лаборатории: иммунохимии и диагностики опухолей и вирусной этиологии опухолей. (Было введено по одному новому слову в названия наших лабораторий, на основании чего они становились «вновь организуемыми».)

Объявить конкурс на вакантные должности научных сотрудников...

(Значит, все автоматически увольнялись и набирались вновь по конкурсу, а не переизбирались на новый срок, как делается с работающими сотрудниками.)

Временно исполняющим обязанности заведующего лабораторией иммунохимии и диагностики опухолей — назначить Абелева, лабораторией вирусной этиологии — назначить Шевлягина».

(Значит, мы тоже уволены.) ...Исполняйте!

Это был истинно барояновский прием. В начале приказа была ссылка на решение Бюро отделения АМН. Все оказались уволенными и под конкурсом. Никто в таких условиях не пикнет. Можно наизмываться всласть. Можно не избирать неудобных. И все — малой кровью. Работать будут, никуда не денутся!

Такого я не ожидал.

— Я не вижу никакой необходимости в ликвидации отдела. Это самый большой и самый сильный коллектив по вирусологии и иммунологии рака. Мы хорошо работали...

Он перебил меня криком: «Не вам судить о вашей работе. Об этом будут судить другие!»

— Но вы не поставили мой отчет о работе отдела...

— Не кричите на меня! Не повышайте голос!

— Извините, если я кричал, но нет никакой ни научной, ни административной необходимости в разделении отдела. Это вред нашей науке.

— Не вам судить! Исполняйте!

— Сотрудники не заслужили увольнения. И особенно тяжело, что вы ликвидируете отдел Зильбера именно сегодня, в годовщину его смерти. (10-го ноября была пятая годовщина со дня смерти Л. А., которую мы каждый год отмечали всем отделом на кладбище.)

— К этому человеку вы не имеете никакого отношения. Я все сделал для него! — Бароян при этом изобразил драматический жест, указав на портрет Зильбера, висевший у меня за спиной.

— Как сотрудник института я обязан подчиниться приказу, но как ученый я никогда с ним не соглашусь!

Бароян был весь красный, орал. Все сидели в полном молчании. Мои возражения, как мне казалось, звучали сорванным петушиным криком.

Я ушел в лабораторию, рассказал обо всем сотрудникам. Положение безвыходное. Искать защиты нигде. Надо было думать, как жить дальше.

В этот день мы, как обычно, ходили на кладбище — Валерия Петровна с Левой и Фейд³, сотрудники ИЭКО⁴ и Герценовского института. Настроение было подавленное, даже какое-то раздавленное, с чувством полного бессилия что-либо изменить.

В самом деле, что можно было сделать? Каких-либо четких правил, обеспечивающих существование и стабильность лабораторий или отделов, не было, гарантий положения сотрудников — тоже. Мы все совсем недавно — в 1969 и 1970 гг. — проходили переизбрание на новый срок: я на пять лет, сотрудники — на три. Однако фиктивного изменения структуры (читай — названия лаборатории) оказалось достаточно для того, чтобы все это нивелировать и всех уволить. Решения Ученого совета не нужно — достаточно «согласовать» с партбюро и Академией. Обсуждения, комиссии — вообще никакой гласности — тоже не нужно. Хорошая работа, горячая проблема, фактическая польза, признание — никакой роли не играют и ни в каких правилах не предусмотрены. Вернее, предусмотрены, но со всевозможными исключениями и противоречиями, дающими достаточный простор произволу администрации института. Судом конкурсные дела не рассматриваются. Дальше я расскажу о том, как, найдя все-таки нарушения закона в приказе директора, мы официально обратились в отдел науки ВЦСПС, где нам очень неохотно обещали разобраться и очень ясно дали понять, что с администрацией института лучше не конфликтовать и что она всегда найдет способ сделать по-своему.

А какая у нас могла быть поддержка? Никаких связей ни в отделе науки ЦК, ни в президиуме Академии, ни в министерстве, ни в КГБ. Бароян это прекрасно знал и действовал наверняка, пренебрегая «мелочами» — Советом или буквой закона.

На закон опереться нельзя, остается наше священное и унижительное право — просить и жаловаться! Но кому жаловаться? В Академию? Там все согласовано. Это написано и в приказе, и Вершилова, я думаю, говорила правду. В министерство? Формально мы ему не подчинены. Отношение же самих верхов министерства к моей персоне было ясно продемонстрировано на выборах в Академию и при «зарезании» Государственной премии.

В отдел науки ЦК? Меня туда даже не пустят. А писать — письмо вернется к Барояну.

Коллективное заявление сотрудников? Но нет большего греха, чем коллективка. Коллективки сами не пишутся, их организывают, а организация — это уже дело серьезное. Анонимка — пожалуйста! Письмо от одного или двух — нормально, но коллективка — упаси боже!

Написать в газету? Впоследствии, когда дело уже приняло другой оборот, мы консультировали этот вопрос с очень известными корреспондентами «Известий»⁵, «Труда» и «Литературной газеты»⁶. Несмотря на полную очевидность дела и отсутствие какой-либо политической окраски, они за это не брались.

Отсутствие твердых законов и объективных критериев дает еще возможность добиться своего, и часто очень серьезного, «на глотке» — благодаря напористости или наглости. Такие случаи бывали. Но для этого мало решить быть напористым и «горлохвотом» — надо быть им по природе. Я, к сожалению, для этого не годился.

До приказа Барояна у меня была большая надежда, предав дело гласности, поставить перед нашими наиболее авторитетными академиками — Блохиным, Энгель-

³ Жена и дети Зильбера.

⁴ Институт экспериментальной и клинической онкологии АМН СССР, ныне Российский онкологический научный центр им. Н. Н. Блохина.

⁵ А. Аграновский.

⁶ Л. И. Пугачева и А. Б. Борин.

гартдом, Шабаром — вопрос о судьбе зильберовского направления и его школы и разделить с ними ответственность за будущее отдела. Эти люди были близки Зильберу и понимали значение его работ и роль всего направления в нашей науке.

Свое заведование отделом я понимал и принимал всегда как долг перед памятью Зильбера, перед направлением, им созданным, перед нашей онкологией и перед своими товарищами, сотрудниками зильберовской лаборатории. Смерть Зильбера была для нас полной неожиданностью и застала совершенно врасплох. Собрались все сотрудники отдела, каждый высказался независимо и откровенно, и общее единоегласное мнение было — бороться за сохранение отдела и за мое назначение заведующим. Это была тоже целая эпопея. До 1969 г. я был «и.о.»: Бароян хотел отдать отдел В. Д. Соловьеву, ставил мне условия — вступление в партию для заведования, но в конце концов в 1969 г. меня избрали по конкурсу руководителем отдела, а В. Я. Шевлягина — заведующим вирусологической (собственно зильберовской) лабораторией. Моя линия заведования была простой: сохранять рабочую и дружескую атмосферу в отделе, давать расти и независимо работать самостоятельным сотрудникам зильберовской лаборатории — Крюковой, Шевлягину, Ирлину, Ильину, Брондзу, Тер-Григорову, способствовать созданию вокруг них самостоятельных групп и довести дело до того, чтобы и фактически, и формально они бы стали на собственные ноги. В этом случае ничего бы из зильберовского наследия не пропало. В то время — в 1966 г. — все они, кроме И. Н. Крюковой, были кандидатами наук и, кроме И. Н. Крюковой и В. Я. Шевлягина, — младшими научными сотрудниками. Все они находились еще в начале своего научного становления. При Л. А. Зильбере все группы и сотрудники его лаборатории «замыкались» прямо на него как на руководителя, и он стремился руководить и направлять их работу, контролируя ее до деталей. Старшими научными сотрудниками были И. Н. Крюкова, В. Я. Шевлягин, В. А. Артамонова, А. Н. Гардашьян и З. А. Постникова. К Крюковой неблагосклонно относилась дирекция — ее бы точно не назначили заведующей лабораторией, и потому было решено «предложить» дирекции на выбор Крюкову и Шевлягина, но только не «впускать» кого-либо извне.

У меня не было какой-либо собственной научной заинтересованности в руководстве отделом, кроме лишь той, чтобы мне не посадили кого-нибудь на голову, тем более что людей, равных Зильберу, у нас в онкологии не было. За все время моего заведования, — а теперь тому уже 9 лет, — у меня не было ни одной совместной работы с сотрудниками зильберовской лаборатории. Но взаимодействие с вирусологами было для нас, и для меня в частности, всегда очень полезным.

Когда решался вопрос о судьбе отдела, Гурвич сказал мне: «Отдел не сохранишь, а себя загубишь». Он имел в виду неизбежные склоки, которые при Л. А. решительно пресекались, и груды административных обязанностей, которые лишат меня возможности работать самому, что для всякого экспериментатора равносильно научной смерти. Отчасти он был прав, но я предельно сократил всякое администрирование и был даже плохим администратором: ничего не просил у дирекции, не выбивал ставок и оборудования, не пробивал командировок, не ходил без вызова к начальству, не административовал в научной работе, — но об этом я сразу предупредил сотрудников и просил их не рассчитывать на меня в этом отношении. Однако я всеми мерами способствовал развитию интересных работ, сколачиванию групп вокруг них, созданию деловой и откровенной атмосферы (с помощью конференций и частным порядком), представительству самих сотрудников на конференциях, в комиссиях и, конечно, в публикациях, а также росту и самостоятельности молодежи. Склон я не поддерживал и заглушал в самом их начале, и потому их не было. По административной линии мне очень по-



*Отдел вирусологии и иммунологии опухолей. Середина 1970-х гг.
Слева направо: 1 ряд — Т. С. Боброва, А. Шамкова, Е. З. Воскресенская, П. З. Будницкая,
М. Д. Глыникина, Е. В. Сидорова, И. С. Ирлин, И. Н. Крюкова, Г. И. Абелев, Е. А. Котляренко,
Д. А. Эльгорт, Г. Н. Дризлих, О. М. Лезинева. 2 ряд — Е. А. Комарова, Н. В. Энгельгардт,
И. Б. Обух, А. В. Андреев, В. Т. Скворцов, Л. Я. Шипова, А. П. Суслов, А. А. Соколенко*

могал К. В. Ильин, выделяя людей в колхозы, на базы или на работу в виварий, регулируя выписку материалов и другие административные вещи. По научной части — в отчетах и справках — В. Я. Шевлягин. По общественной — очень сильно А. И. Гусев и З. А. Постникова: они следили, чтобы у всех была общественная работа, чтобы брались и выполнялись «социалистические обязательства», чтобы выпускалась стенная газета и не было бы особых нареканий по линии парткома, месткома и прочей общественности. По виварию основную помощь оказывала З. А. Постникова. В этот период резко пошла вверх работы Брондза, едва ли не лучшие сейчас в нашей иммунологии, Ирлина и Тер-Григорова, весьма интересные и перспективные, Крюковой и Обух. Все это время я сам работал экспериментально и в 1970–1971 гг. уже мог работать много в лаборатории.

Когда в 1966 г., после смерти Л. А., я говорил о нашей судьбе с Н. Н. Блохиным, тогда еще президентом АМН, он предложил мне перейти к нему в институт⁷, но только со своей лабораторией, однако я не мог оставить тогда зильберовскую лабораторию на верное разорение.

⁷ Первый раз он предлагал такой переход в 1962 г., во время Международного онкологического конгресса в Москве.

Я не могу припомнить ни одной серьезной склоки или раздора за истекшие пять лет. Все вопросы решались гласно, с резонами, очевидными для каждого.

Разделение отдела, как я уже говорил, помимо отрыва иммунологических работ от вирусологических (в их объединении и была сила нашего отдела) привело бы к неминуемому развалу вирусологической лаборатории: в ней не было человека, способного объединить составляющие лабораторию группы, достаточно авторитетного, чтобы возглавить и удержать лабораторию не только формально, но и по существу. Поэтому разделение отдела было не просто административным актом, — но неминуемо вело бы к его действительному уничтожению.

Я относился к заведованию отделом как к долгу, но отнюдь не считал, что это только мой долг, и в критический период хотел разделить ответственность с теми, на которых она лежала и формально, и морально.

Но Бароян опередил меня — отдел был ликвидирован до того, как я успел обратиться к тем, на чью помощь надеялся и рассчитывал.

После кладбища я заехал к Жоре Свет-Молдавскому, туда же зашел и Лева Фонталин. Свет-Молдавский тогда был председателем проблемной комиссии по вирусологии и иммунологии рака АМН, и ликвидация единственного, самого старого и сильного отдела вирусологии и иммунологии, входящего в проблемную комиссию, касалась его самым непосредственным образом. К тому же он охотно и активно возглавлял комиссию. Я сильно рассчитывал на реакцию проблемной комиссии, тем более что раньше мы (члены комиссии), хотя и аккуратно, но вмешивались в дела онкологических институтов, где ликвидировались входящие в комиссию лаборатории. Свет-Молдавский сказал, что обратиться как председатель комиссии к Блохину, руководителю Научного совета по раку, в который комиссия входит. Свет-Молдавский мрачно смотрел на ситуацию. Он сказал, что если идти на то, чтобы лечь костями за отдел, то можно попытаться его отстоять, в противном случае с Барояном никто связываться не будет, и с ним не справиться. Я не был готов «ложиться костями».

Через пару дней мы вместе с Ю. М. Васильевым обсуждали положение с Г. И. Дейчман⁸. Галина Исааковна была настроена очень пессимистично. Она считала, что есть только один выход — уходить. На это я пойти не мог.

Куда же я мог уйти без своей лаборатории, которую создавал больше десяти лет, с которой у меня было связано все прошлое и будущее, без своей единственно твердой опоры, благодаря которой мне было легко игнорировать все внешние трудности и превратности?

Не подавать на конкурс на замещение должности заведующего, подло придуманный Барояном, — об этом я думал. Уйти из института с лабораторией — это был бы лучший выход. Но в тот момент такого выхода не было.

В эти же дни, чуть ли не прямо 10-го, состоялся очередной гельфандовский семинар⁹. Я обещал Васильеву быть на нем, но идти мне очень не хотелось. Было трудно видеть людей, впуская говорить об одном и том же и выслушивать, что я сделал не так и как это надо было сделать.

Но, к счастью, я глубоко ошибся в своих ожиданиях.

Ко мне сразу же подошла Татьяна Антоновна Детлаф, руководитель лаборатории из Института биологии развития АН, с которой я лично почти не был знаком раньше, и спросила, не повредит ли мне обсуждение создавшейся ситуации на

⁸ Руководитель лаборатории противоопухолевого иммунитета в институте Блохина.

⁹ И. М. Гельфанд — выдающийся математик, тогда член-корреспондент АН, руководитель биологического семинара МГУ.

Проблемной комиссии по биологии развития или, может быть, молекулярной биологии АН. Такое обсуждение с моим докладом могло бы выразить мнение Большой Академии и повлиять на Барояна. Я не верил в эффективность подобных обсуждений, считал, что они не могут подействовать на Барояна, бывшего в «другом ведомстве» и все «согласовавшего», а только вызовут у него дополнительное раздражение, что приведет к новым репрессиям. Я сказал об этом Т. А., но, конечно, выразил готовность выступить с докладом в академических советах. Т. А. обещала безотлагательно поговорить с академиками Астауровым и Энгельгардтом, поскольку она является ученым секретарем одного из советов, а они председателями. Я дал согласие участвовать в любом качестве — сделать ли научный доклад, или отчет о работе отдела. С Б. Л. Астауровым я совсем не был знаком, с В. А. Энгельгардтом — очень мало, хотя Наташа, его дочь, работала у нас уже 14 лет. В. А. никогда не вмешивался в Наташины дела и, соответственно, в дела лаборатории.

Когда пришел И. М. Гельфанд, он сразу же подошел ко мне, стал расспрашивать, возмущаться и сказал, что очень рад, что в его семинаре собрались честные люди, и что ему особенно симпатичны те, кто в обычной обстановке склонен к компромиссам и терпим, а в экстремальной ведет себя четко и определенно. Это сильно меня подбодрило.

После семинара мы шли вместе с ним и Васильевым и обсуждали все возможные варианты дальнейшего хода событий. Эти обсуждения — поздно вечером, после семинара, по дороге от университета — стали регулярными.

И. М. вполне разделял мою оценку ситуации. Главное — надо было срочно искать, куда можно уйти с лабораторией, захватив наиболее уязвимых коллег из лаборатории Зильбера. Было ясно, что конкурс для сотрудников не будет пустой формальностью: помимо издевательств, кто-то будет уволен, и почти наверняка — Брондз. Я же просто не мог подавать на этот «конкурс». Кроме того, было ясно, что Бароян сделает все возможное, чтобы «пришить» мне какое-нибудь «дело», чтобы я никуда не смог бы уйти и вообще чтобы отпугнуть всех сочувствующих.

Далее И. М. посоветовал мне найти предлог для того, чтобы отчет о работе отдела все-таки был написан и передан в официальные инстанции, чтобы на случай каких-либо дальнейших событий «была бумага» и чтобы со временем нельзя было ссылаться на то, что отдел не работал или заведующий не возражал. «Вам надо завести «склочную папку» и держать в ней все бумаги, относящиеся к этому делу, чтобы все было под рукой. Бумаг будет много».

Я так и поступил, и вскоре (15.11.71) после приказа Барояна подал в Ученый совет докладную записку, где выразил свое отношение к ликвидации отдела и дал краткий отчет о его работе за пять лет, — пусть лежит в бумагах!

Конечно, никакой реакции (положительной) не было, и через неделю я послал аналогичную, и даже более жесткую, докладную президенту АМН — В. Д. Тимакову. Докладная была передана его секретарю (это было 23 или 25.11.71).

В этих докладных я никого ни о чем не просил, а просто писал, что ликвидация отдела вредна и нецелесообразна, и не вызвана научной необходимостью. К каждой докладной был приложен краткий научный отчет — вполне убедительный и сам по себе.

Я почувствовал, что начал распрямляться: и потому, что высказался по всей форме, и потому, что не испугался угроз Барояна. Правда, Тимакову докладную я посылал не без страха, рассчитывая лишь на новые репрессии со стороны директора.

Обе докладные сохранились в «склочной папке».

Надо было как можно быстрее уходить и выводить лабораторию и кого будет можно — из отдела. Но куда?

Возможность уйти в институт Блохина отпала сразу. Г. Я. Свет-Молдавский и Н. П. Мазуренко¹⁰, как председатель и член проблемной комиссии, пришли к Н. Н., прося разрешения от Совета собрать комиссию и обратиться от ее имени к Барояну или в АМН, но Н. Н. резко пресек это «начинание» и просто запретил им как председателю Научного совета по раку (которому комиссия подчинена) поднимать шум и вмешиваться в дела другого института. При этом он сказал, что Бароян не собирается меня выгонять или разгонять сотрудников, что кого-то он уволит (какого-то «Бронзиса»), но в целом ничего страшного не произойдет.

В Герценовский институт? Там научными делами управляла В. В. Городилова, которая всегда подчеркивала, что она ученица Зильбера, выражала свое расположение к отделу, когда все было нормально, даже взяла Тер-Григорова на работу, когда Бароян выгнал его из института. Но сейчас Бароян создавал вокруг меня мистическое облако «политического» дела, которое отпугивало всех в АМН, а после того, как я конкурировал с ней на выборах в Академию, она вряд ли мне сочувствовала.

В Большой Академии не было тогда ни одной иммунологической лаборатории (кроме маленькой группы Р. С. Незлина в Институте молекулярной биологии) и ни одной онко-вирусологической, да и просто вирусологической. В принципе они понимали необходимость этих направлений, так как основные проблемы молекулярной биологии решались именно на этих биологических моделях. Более того, Энгельгардт понимал, что без серьезной биологической базы, — а это прежде всего онкогенные вирусы, клеточные культуры, иммуногенез, — его институт не сможет полнокровно развиваться, так что зарождался проект создания биологического филиала института под Москвой в Черноголовке.

Я не помню точно, в эти ли дни, или несколько позже В. А. Энгельгардт пригласил меня, чтобы обсудить перспективы, и очень сожалел, что ни в Пушкине, ни даже в Новосибирске нет для нас подходящих помещений и штатов, но обещал переговорить с А. А. Баевым¹¹, шефом Пушкина. Он очень положительно относился и к намерению уйти от Барояна, и к готовности уехать из Москвы. Он несколько раз повторил, что в свое время уехал из Ленинградского университета в Казань, и несколько об этом не жалеет, и что в Казани ему работалось очень хорошо. Тогда же он сказал мне, что мой доклад будет поставлен на объединенных Советах по молекулярной биологии и биологии развития. Он просил затронуть в докладе лишь научные аспекты проблемы. В перспективе начала обозначаться какая-то, пусть отдаленная, но определенность.

Тогда же Лева Киселев — сын Л. А., работавший у Энгельгардта и хорошо знавший академическую ситуацию, посоветовал мне сделать решительный шаг и попытаться договориться с Дальневосточным филиалом АН, где директором Биолого-почвенного института был хорошо знакомый ему зоолог-эволюционист Н. Н. Воронцов. Я охотно согласился, и Лева устроил мне встречу с Воронцовым, бывшим тогда в Москве.

Воронцов мне очень понравился. Молодой, интеллигентный, дельный человек, он хотел сделать у себя хороший институт. Директором он стал недавно, заканчивалось строительство нового институтского здания, и он сам очень воодушевился перспективой организовать сразу несколько лабораторий — иммунологических

¹⁰ Профессор Н. П. Мазуренко — руководитель лаборатории вирусологии в институте Н. Н. Блохина.

¹¹ Тогда академик-секретарь Отделения биохимии, биофизики и физиологически активных веществ АН.

и вирусологических, причем лабораторий, имеющих уже свое направление и научную репутацию. Он хотел при этом, чтобы переезд во Владивосток был не временным ходом, и очень обрадовался, узнав, что жена у меня генетик и работала в университете. Им очень нужна была генетика, а Владивостокский университет был полностью под их опекой.

Воронцов считал, и вполне обоснованно, что их уникальные тихоокеанские объекты в сочетании с хорошей экспериментальной наукой могут дать отличные результаты. Я предварительно говорил с Гурвичем, Брондзом, Ирлиным¹², Дризлихом¹³ и, конечно, своими сотрудниками об их отношении к возможному переезду во Владивосток. Мои сотрудники — Наташа Энгельгардт, Света Перова, Таня Рудинская не только не останавливали меня, но говорили, что в случае успеха либо переедут, либо (Наташа) найдут возможность числиться там, а работать здесь. Эля (жена) тоже не удерживала меня от переговоров, хотя для нее все это было совсем не просто. Жора Дризлих, Ося Ирлин и Брондз согласились безоговорочно. Гурвич хотя и соглашался, но считал, что ехать на периферию — хуже, чем быть у Барояна. Почему там нет науки? Только потому, что все определяется отношениями с начальством, а отношения эти однозначны — полное подчинение или гибель. Уходить там некуда. Я думаю, что А. Е. был прав (Воронцова в 1974 г. сняли). Как сказал А. А. Баев на одном из совещаний: «Мы в Академии думали, периферия не дает хороших работ потому, что там нет материальной базы. Мы вкладывали средства именно в периферические институты, которые оборудованы сейчас лучше московских. Но мы убедились, что тем самым укрепляли базу посредственных работ, что дело не в оборудовании, а в идеях».

Дело, по-видимому, не в оборудовании и не в идеях, а в атмосфере, в которой могут возникать и цениться идеи, а не отношения с начальством. Если бы отношения на периферии были не иерархической пирамидой, где все однозначно определено (что невозможно в Москве), а полицентричными, — то наука вообще не делилась бы на московскую и периферическую, как она не делится на нью-йоркскую и калифорнийскую. Пирамидальная иерархия даже в малом масштабе неэффективна, а в большом — это смерть науки.

Но тогда это меня не очень сдерживало. Важно было выйти из-под прицельного огня Барояна и стать в положение «как все», что было уже намного легче. С Воронцовым мы договорились продолжить встречи. Он должен был выяснить ситуацию у своего начальства и хотел пригласить меня во Владивосток, чтобы посмотреть все на месте.

Под ногами появлялась почва. Я понял, что без работы не останусь.

Не могу вспомнить, было ли это в ноябре, или уже в декабре: меня пригласил для переговоров ректор МГУ — И. Г. Петровский. Это случилось довольно неожиданно. Ко мне домой заехала Алла Александровна Ставровская — коллега Васильева, которая сказала, что И. М. Гельфанд говорил с ректором и Иван Георгиевич просил сразу же позвонить ему и заехать.

С Петровским у меня была раньше одна встреча. В 1964 г., когда организовывалась кафедра вирусологии в МГУ, И. Г. приезжал в институт к Зильберу, просил его возглавить кафедру. Л. А. тогда очень грустил, но отказался: «Если бы на десять лет раньше», — говорил он. Но Л. А. прочел вступительную лекцию, открывшую преподавание на кафедре. И. о. завкафедрой стал Андрей Николаевич Белозерский,

¹² И. С. Ирлин — научный сотрудник бывшей зильберовской лаборатории.

¹³ Г. И. Дризлих — научный сотрудник лаборатории химии и биосинтеза антител А. Е. Гурвича.



В коридоре института: Г. И. Абелев (справа) и А. Е. Гурвич. Рисунок И. С. Ирлина

тогда уже академик, а позже — академик-секретарь Отделения биохимии и биофизики, директор Молекулярного корпуса МГУ, завкафедрой биохимии растений.

Я делал у А. Н. диплом, и с тех пор он ко мне очень хорошо относился, устраивал на работу, опекал и консультировал, был оппонентом на кандидатской. При организации кафедры он сразу же пригласил меня читать курс иммунохимии, а когда Л. А. отказался от заведования, по-видимому, предложил Петровскому мою кандидатуру. А. Н. пользовался абсолютным доверием ректора, который с его помощью постепенно, но неуклонно преобразовывал биофак, находившийся еще в значительной степени под влиянием «мичуринцев» и их ставленников. А. Н. был человек исключительно доброжелательный и очень осторожный. Он не любил крутых мер, хотя говорил обо всем достаточно прямо. С его помощью биофак постепенно восстанавливался, причем организация Молекулярного корпуса — межкафедретского, очень сильного по составу и прекрасно оборудованного, с абсолютно демократическим устройством, независимого от факультета — резко изменила положение биологов в МГУ в лучшую сторону. А. Н. ни с кем не обострял отношений, а политики он боялся как огня.

А. Н. был принципиально научный человек: он сам никого не давил авторитетом, не считал своим долгом всем и всеми руководить и организовывать в «мощный кулак» — наоборот, помогал всем, кто работает, встать на ноги. Он умел видеть в людях их сильные стороны.

И. Г. Петровский в своей политике по реорганизации биофака полностью опирался на А. Н. На ректора большое влияние имел и И. М. Гельфанд, все больше входивший тогда в биологические дела. У А. Н. с Гельфандом были прохладные отношения. И. М. был гораздо более резким и активным человеком.

Где-то году в 1965 меня пригласил Петровский и в течение двух часов убеждал взяться за заведование кафедрой вирусологии. Я не мог согласиться, так как не был вирусологом, не был администратором, не мог и не хотел оставить свою лабораторию и вообще имел только одно желание — сосредоточиться на своей работе. У меня уже давно появилось ощущение собаки, которую все время за хвост оттаскивают от мяса. Иван Георгиевич взывал и к чувству долга перед нашей наукой, приводил в пример себя, объяснял, как трудно управлять университетом — «как двигаться в вязкой среде, как в глицерине: чем быстрее двигаешься, тем больше сопротивление». С большим трудом я отказался, но Иван Георгиевич произвел на меня сильное впечатление — простой и уважительный, прямой и своеобразный, очень необычный по манере говорить и несомненно очень умный и порядочный человек. На стене его кабинета в МГУ висела прекрасная картина Нестерова. Он был крупный математик и подлинный академик.

Сейчас мне вновь предстояло встретиться с ним, уже совсем в другой ситуации. Я позвонил ему (это было в субботу или воскресенье), и И. Г. пригласил меня, не откладывая, заехать к нему домой.

И. Г. очень изменился: он был только что из больницы, недавно умерла его жена, он постарел, стал еще более резким (как бы отрывистым) в разговоре, в движениях. У него был пожилой математик (не помню фамилию). И. Г. просил рассказать, что произошло. Я коротко рассказал — он слушал с удивлением. Начал говорить, что под Калугой планируется создание филиала МГУ с биологическим отделением, в прекрасном месте, с хорошими условиями для работы. Я выразил полную готовность там работать. И. Г. начал перебирать возможности в университете:

— Сколько у вас сотрудников в лаборатории?

— Одиннадцать — с высшим образованием.

— Одиннадцать ставок я вам дам. Хуже с помещениями. В главном здании есть подвалы, — они не совсем подвалы, но не оборудованы.

Я отвечал, что это идеально, мы много лет работали в подвале (это действительно так) и очень быстро оборудуем их под лаборатории.

— Ну что ж, я позвоню Андрею Николаевичу. Ведь он, кажется, очень хорошо относится к вашей работе.

Я пытался удержать его: получается, что я обратился к ректору через голову А. Н., лучше я сам с ним переговорю вначале.

Но И. Г. уже брался за телефон.

— Вы тут ни при чем. Какие могут быть обиды. Я на вас ссылаться не буду.

Он позвонил А. Н. и сразу же спросил у него: «Андрей Николаевич, какого вы мнения о работах Абелева?»

А. Н. отвечал, что самого лучшего — и что-то дальше в этом роде.

— Вы возьмете его в Молекулярный корпус?

А. Н., по-видимому, отвечал, что нет ставок, что у меня хорошие условия в институте и брать меня некуда.

— Я вам сразу же даю одиннадцать ставок, а если понадобится, — больше. Неужели вы не найдете в громадном корпусе где разместить одну хорошую лабораторию вашего же ученика?

А. Н. упорно возражал, ссылаясь на трудность размещения и нежелание обострять отношения с Медицинской Академией (он был тогда уже академиком-секретарем), предлагал лучше поговорить в АМН с Тимаковым (которого он давно знал).

Разговор ничем положительным не кончился.

Пропала такая отличная возможность уйти от Барояна, да еще А. Н. наверняка обиделся на меня, и я подвел Гельфанда. Но что я мог сделать?

Через несколько дней меня попросил зайти В. М. Жданов — директор Института вирусологии, с которым я до того лично почти не был знаком.

В. М. порасспрашивал меня, поухмылялся в адрес Барояна, сказал, что говорил с ним по просьбе Белозерского, и повторил барояновскую версию, что он не собирается разгонять, уничтожать и т.д.

После разговора с И. Г. я позвонил А. Н., извинился за то, что невольно получилось обращение через его голову, сказал, что я не хотел и не хочу доставлять ему хлопот и неприятностей. А. Н. объяснил мне, что сейчас, к сожалению, взять нашу лабораторию невозможно.

Параллельно со всеми этими переговорами Эля держала в курсе событий М. С. Мицкевича, заместителя Астаурова по Институту биологии развития и его Совету. Мицкевич активно, с помощью Детлаф, подготавливал заседание обоих Советов и ввел в курс дела Астаурова. Астауров собирался в Новосибирск и обещал переговорить там с Д. К. Беляевым — директором Института цитологии и генетики Сибирского филиала АН.

Такова была ситуация с переговорами о переходе. В АМН все было глухо и непробиваемо. В АН появились надежды.

Бароян же в это время взлупотывал. То ли до него доходили слухи о моих попытках уйти (через Жданова или Блохина), то ли он не чувствовал должного испуга с моей стороны, то ли опасался, что может подняться нежелательный шум, — а вернее, все это вместе. Его профессиональный прием — давить с запасом всякое возможное сопротивление градом очень быстрых репрессий — привел к немедленному и всевозрастающему нажиму на меня и на сотрудников. Мне трудно вспомнить сейчас все подробности, но атмосфера была крайне напряженная. Меня никуда не выпускали из института. Ни на редколлегию, ни на совещание оргкомитета предстоящего онкологического съезда, где я должен был организовать уже упомянутый «круглый стол». Я перестал получать иностранную корреспонденцию. Раньше ежедневно ее получала в канцелярии лаборантка. Теперь ей сказали, что всю мою переписку передают директору, а затем, после прочтения, я могу ее получить под расписку у Эльсона. Сначала такой порядок касался только меня, но потом быстро распространился на весь институт, включая отдел Тимакова, президента АМН. Мы долго не ходили за письмами, потом привыкли. То же самое с письмами за границу. Раньше мы сдавали их в канцелярию, оттуда они шли на почту, теперь путь их изменился: канцелярия — Эльсон — почта, при этом часть писем изымалась на пути туда или обратно.

Я понял, что Бароян ищет на меня «материал». Ведь получалось так, что за мной нет никакого формального «греха», вопреки создаваемому им впечатлению чего-то очень серьезного. «Дело Брондза» было давно (1968), и после него я уже избирался и на лабораторию, и на отдел. «Дело Гурвича» (1968) — тоже. Но надо же было хоть что-то иметь, чтобы предъявить в случае чьего-либо вмешательства или разбирательства. Но ничего не было. Я вел себя в пределах инструкций, приказов не нарушал и просил сотрудников соблюдать все порядки и не давать поводов для обвинений. У меня хранится письмо из института Слоан-Кеттеринга в Нью-Йорке с резолюцией Барояна: «т. Каулену! Выяснить, не является ли запрашиваемая информация секретной. Бароян». Письмо это вручил мне Каулен. Д-р Бойз спрашивал, правда ли, будто мы показали, что групповой антиген лейкозных вирусов мышей находится на поверхности клетки. Как выяснилось впоследствии, они показали то же самое и хотели сослаться на нашу работу. К сожалению, я тогда не ответил.

И. Б. Обух возмущалась чтением ее почти личных писем из Чехословакии и пошла сначала к Эльсону, потом к Барояну. Бароян разговаривал с ней издевательски, рекомендовал искать место в другом институте, если ей не нравятся порядки здесь, и напомнил про предстоящий конкурс.

В середине месяца он вдруг прислал ко мне двух ребят, которые сказали, что направлены на работу в нашу лабораторию. Это были двое из группы отобранных на медико-биологическом факультете II Медицинского института. Отбор проводили институтские комсомольцы. Ребятам было сказано, что они направляются в научно важную, но неблагополучную лабораторию, и, поскольку одна девочка была послана к Гурвичу, ход был ясен — Бароян не разгоняет, а заботится о судьбе направления и заодно посылает туда «своих» людей. Под прикрытием усиления можно и почистить лабораторию.

Ребята — это были Толя Суслов и Юра Чуев — мне понравились, и я сказал им, что в другое время был бы рад им, но сейчас взять их не могу, так как лаборатория упразднена, и до выяснения ее судьбы я кадровых вопросов решать не буду. Аналогичную докладную я сразу же послал Барояну. Он позвонил мне: «Почему ты отказываешься от сотрудников?»

— Потому что лаборатории нет, и я еще не заведующий, а «врио». Никого брать в несуществующую лабораторию я не буду и визы своей ставить не буду.

Вскоре последовал приказ об их зачислении с визой директора, чего никогда раньше не делалось. Я отправил ребят к Брондзу. Одновременно Бароян распускал слух о том, что я подбираю лишь евреев. Основанием служило то, что незадолго до этих событий В. А. Артамонова из зильберовской лаборатории взяла себе вместо ушедшей сотрудницы девочку по фамилии Упорова на должность старшего лаборанта. Я заявление подписал, а бдительный Никитин усмотрел в анкете, что мама ее — Сарра Михайловна. Девочку под каким-то предлогом не взяли, а мне это пошло в досье.

23 ноября в «Медицинской газете» был объявлен конкурс на замещение вакантных мест. Желающие приглашались принять участие.

Тем временем готовилась конференция — совместное заседание Советов в Большой Академии. До Барояна, видимо, дошли слухи об этом. Меня никуда не выпускали из института. Организаторы планировали пригласить или, во всяком случае, известить Барояна и, возможно, Соловьева или Тимакова. Обсуждался и вопрос, как лучше известить Барояна — обычной повесткой или персональным письмом. Решили, что обычной повесткой, но курьером и под расписку.

В конце ноября мне позвонил заместитель директора В. Е. Коростелев и сказал, что в один из ближайших дней будет назначен Ученый совет с моим отчетом. Время Совета еще окончательно не определено. Мне стало совершенно ясно, что Совет будет назначен как раз на время моего доклада, чтобы наверняка его сорвать. Я предупредил Коростелева, что готов отчитаться в любое время, но, по-видимому, в следующий понедельник у меня будет доклад в Академии, заранее запланированный, от которого я отказаться не могу. Коростелев очень всполошился, говорил, что не знает дня, что, может быть, Совет будет назначен как раз в понедельник и что повестки уже печатаются без указания даты, которую директор может назначить на любое время. (Обычный же день Советов у нас — пятница.)

Я предупредил организаторов конференции о такой возможности.

Накануне я говорил по телефону с А. Н. Белозерским и В. А. Энгельгардтом.

А. Н. спрашивал, не стоит ли отменить конференцию. Я объяснил, что будет она чисто научной, никаких ситуационных аспектов я касаться не буду, а для меня она очень важна из-за возможности перехода в Академию. Поэтому я никак не могу отказаться от нее.

В. А. сказал, что мы должны договориться, «как жулики, которых будут допрашивать по отдельности». Мы условились всем говорить, что доклад был запланирован очень давно, еще до всех событий, и что он входил в план работы Совета по молекулярной биологии. Договорились и о том, где его проводить — В. А. сначала решил, что лучше в Институте биологии развития, чтобы не говорили, что он заступает за дочь. Но потом передумал и назначил у себя в институте. Повестки на эту конференцию мне и Барояну передали с курьером в обрез — в четверг, и в четверг же начали срочно рассылать повестки об общеперинститутском Совете с вписанным от руки числом. Институтский Совет назначался точно на тот же день и час, что и конференция в АН. Явка всех заведующих обязательна. В повестке — мой и Шевлягина доклады. Остальные вопросы — очень грозные: укрепление некоторых институтов, что «в переводе» означало угрозу перевода в Институт трансплантации для Фонталина и Фриденштейна, в Институт ревматизма для Лямперт и объединения в одну лабораторию Гурвича и Кульберга (при полной их несовместимости). Расчет был чисто барояновский — использованный уже в деле Гурвича, но здесь исполненный с большим размахом: конференцию Академии сорвать, поставив организаторов в смешное положение, а меня в положение труса. Всех заведующих собрать, чтобы никто (ни Гурвич, ни Фонталин, ни Фриденштейн) не смог бы прийти в Академию. Всех запугать и подавить обсуждение судьбы нашего отдела. Объявить Совет по срокам так, чтобы конференцию Академии перенести было бы уже невозможно.

Мне было также ясно, что на этом совещании Бароян должен мне «пришить дело», спровоцировать на какое-либо высказывание, на что он был большой мастер, или очернить каким-либо другим путем.

Если я приду на это заседание, то капкан, из которого уже наметился выход, захлопнется — и у меня будут перекрыты все пути.

Другого варианта, кроме ухода из института, не было. Гурвич, хотя и не говорил определенно, но думал так же. Деваться было некуда.

К вечеру четверга зашел Фриденштейн, который предлагал мне «заболеть» и взять на понедельник бюллетень, чтобы не идти на Совет. Мне этого очень не хотелось, но Саша убедил меня и А. Е., что бюллетень не повредит, и повез нас на Гагаринский в минздравовскую поликлинику. Я попал к врачу, рассказал ему про головные свои боли. Врач, старый еврей, очень сокрушался, надавал массу советов, но ему как-то не пришлось в голову дать бюллетень профессору, который, по его мнению, может ходить на работу по своему усмотрению. Я у него ничего не просил. Последняя зацепка отпала. Я пообещал Фриденштейну взять больничный завтра же, и он подвез меня домой.

Решение было готово. Оно было единственно возможное и вынужденное. Это был не ход в игре — были желание и необходимость выскользнуть из капкана. Мне сильно помогло, что и на работе, и дома к такому решению уже были подготовлены и считали, что я должен это сделать, как только найду нужным. И жена, и теща говорили: «Уходи от Барояна, пока жив. На одну зарплату проживем. Жили хуже. Без работы не останешься». На работе считали: «Уйдешь сам, а мы постепенно перейдем». Дома, уже ночью, я вместе с женой составил сначала один вариант заявления, потом другой. В них было сказано все просто и без дураков. Я переписал заявление, черновики оставил для «склочной» папки. (Оба черновика у меня сохранились.)

Утром в пятницу я зашел в дирекцию. Барояна и Каулена еще не было. Был один Коростелев. Я заглянул в лабораторию, показал заявление Гурвичу. Он одобрил.

Пошел к Коростелеву. Он сидел со своим сотрудником Реутовым. Передал ему заявление для Барояна. Коростелев отказывался брать его, пытался что-то говорить, но я оставил заявление и ушел в лабораторию. Сказал Наташе Энгельгардт,

что подал заявление. И Наташа, и А. Е. стали торопить меня уйти из лаборатории, пока не перехватил Бароян. Но тут же позвонил и он: «Ты что же? Передаешь заявление через Коростелева? Неужели не находишь нужным даже поговорить со мной? Почему ты это сделал?» Тон его был мягок и фамильярен.

Я отвечал, что в заявлении все сказано и добавить мне нечего. Он требовал, чтобы я зашел, говорил, что так делать непорядочно. Я пообещал зайти. Но из проходной, когда я почувствовал, что не могу больше ни говорить ни с кем, ни видеть никого, я позвонил секретарю — Александре Михайловне — и сказал, что ухожу домой и к Барояну не приду. Наконец я остался один дома. Еще надо было готовиться к докладу в понедельник в Академии. На прошедшей неделе для этого не оставалось ни дня, ни вечера. Но готовиться по-настоящему не пришлось. События навалились еще более страшные.

Вечером я пошел на семинар. Не помню точно, что там было. Никто меня не осуждал за сделанный шаг. Нейфах¹⁴ очень оживленно сказал мне: «Идет крупная игра, — ты пошел козырной картой. Это такая игра».

Для меня это совсем не было игрой.

Детлаф уточняла насчет конференции — и еще раз хотела убедиться, не откажусь ли я от доклада. Я заверил ее, что не откажусь ни при каких условиях. Что-то происходило за кулисами конференции, и Детлаф очень беспокоилась, не будет ли она отменена академическим начальством или отнесена на другой срок.

Гельфанд после семинара тщательно анализировал ситуацию. Он видел в ней и преимущества — теперь будет легче перейти, так как новому начальству не надо будет связываться с Барояном: я сам ушел от него. Мне возможные перспективы не казались реальными. Я сказал ему по дороге: «Спасибо и за то, что проработал двадцать лет. Это совсем не мало». Он отвечал: «Что двадцать лет? И еще двадцать проработаете».

Утром в субботу, когда я начал готовиться к докладу, пришел Ося Ирлин, очень расстроенный. «Я должен тебе сообщить новость, которая может огорчить тебя, но ты все равно должен знать. Вчера вечером “Голос Израиля” — сам я не слышал, но за точность ручаюсь, слышал мой приятель — передал, что в институте Гамалеи его директор, профессор Бароян, в связи с отъездом в Израиль одного из сотрудников созвал Ученый совет, на который обязал прийти профессоров-евреев, ранее выведенных из Ученого совета, и заставлял их публично обвинять отъезжающего».

Кажется, там называли фамилии профессоров-евреев, и, кажется, моей там не было, а может быть, и была.

Страх подступил мне к горлу. Впервые за всю эту историю меня охватил страх — до тошноты. Все сорвалось. У Барояна не было ничего, что он бы мог мне «привесить», чем парализовать мои действия. На Совете в понедельник он должен «создавать дело» из ничего — из мелочей и старых дел. А теперь они сами дали нож ему в руки, и в самый критический момент. Уж кто-кто, а он сможет преподнести это Совету и связать все в одну картину — и неявку на первый Совет, и демонстративный уход, и передачу «Голоса».

Конференция в Академии тоже будет отменена, как только там станет известно о передаче. Какие тут могли быть сомнения? Да и Бароян позаботится об этом. Ему-то все станет известно раньше всех.

На Совете будет принята резолюция: «Мы, ученые Института имени Гамалеи — русские, армяне, евреи, дружной семьей работающие, — единодушно осуждаем клеветнические заявления...»

¹⁴ А. А. Нейфах — яркий человек и ученый, в те годы заведующий лабораторией в Институте биологии развития АН СССР.

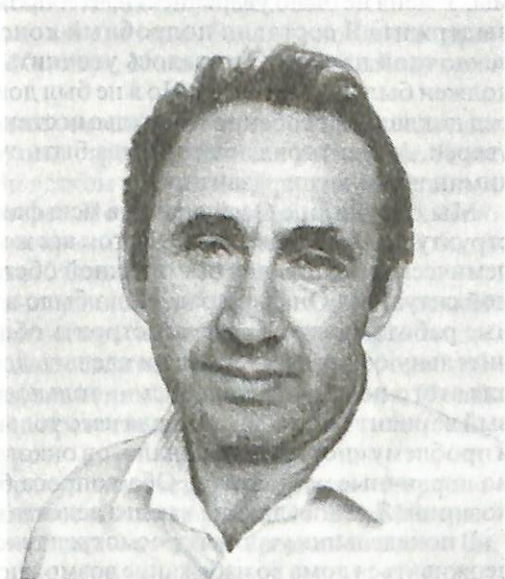
Неожиданно пришел Свет-Молдавский, потом Фонталин. Известие их расстроило не меньше, чем меня, и они вполне разделяли мою оценку ситуации. В любом случае мой уход и неявка на Совет, где я должен был отчитываться, связывались с передачей «Голоса». Необходимая «сионистская» подоплека моего поведения, так нужная Барояну, была налицо. Капкан захлопнулся.

Что было делать, если события развернутся по этой программе? Она была наиболее вероятной. Мой уход был продиктован главным образом желанием не дать Барояну возможности «пришить» мне «сионистское» или другое «политическое» дело, что сразу бы исключило возможность перехода в другой институт и всякие шансы на сохранение лаборатории. Сейчас я должен буду либо демонстративно и добровольно взять на себя такое дело, либо вместе со всеми подписывать предполагаемую резолюцию. Я считал, что придется подписывать — другого выхода нет.

И Свет-Молдавский, и Фонталин, и Ирлин были согласны с этим. Мы попросили Осю передать такое решение Гурвичу, чтобы он присоединился к нему. Впоследствии я узнал, что А. Е., приняв все доводы, сказал, тем не менее, что с него хватит, он больше ничего подписывать не будет. Остальные пусть поступают как считают нужным.

И хотя мне не пришлось подписывать такой резолюции, я был внутренне уже готов к этому. С тех пор я не осуждаю почти никого, кто подписывал подобные письма, кроме случаев уж очень очевидных. Кто знает, что им пришлось пережить перед этим? Одно я понял и все больше понимал впоследствии: чтобы точно знать, чего ты сделать не можешь ни при каких обстоятельствах, надо один раз сделать это или внутренне быть готовым к этому — только тогда ты поймешь, что это несовместимо с твоей природой, либо увидишь, что ничего не случилось, ты остался каким был и просто «такова жизнь» и «все так». Я думаю, что такая история случилась с Аркадием Райкиным, раз выступившим в телеинтервью вместе с другими знаменитыми артистами-евреями. После этого у него, кажется, был инфаркт. Он очень долго не выступал. О нем почти не говорили. А когда он вновь появился на сцене, он стал совсем другим — непреклонным, очень грустным и даже злым, а в шутках его сквозила мука. Впоследствии я не раз мог быть «на грани подписания», но уже твердо знал, что сделать этого не смогу. По крайней мере, думал так.

На случай, если во время Совета Бароян исказит мое заявление или будет обвинять меня в неуважении к Совету, я просил передать Гурвичу черновик моего заявления Барояну и сочинил письмо Ученому совету с объяснением причин моего отсутствия. Письмо отредактировали и перепечатали. Я просил Фонталина зачитать его, если будет необходимость, или передать сразу ученому секретарю Марку Шеханову на его усмотрение.



Иосиф Самсонович Ирлин (1937–1997)

На том и разошлись. Я просил Осю приехать завтра, привезти оттиски работ, нужных для доклада, и принялся за работу. Времени было в обрез, а структура доклада никак не вырисовывалась. Я построил его как принципиальный обзор проблемы вирусной трансформации клеток в злокачественные — роль интеграции геномов, доказательства, модели, обратная транскрипция, модели интеграции для РНК-овых вирусов, убиквитарность лейкозных вирусов и новые проблемы, с этим связанные. Работы отдела были «вмонтированы» в общую картину. Связь вирусологии с иммунологией была очевидной. И доклад получался вполне новым и, по-моему, интересным и для биологов развития, и для молекулярных биологов. Несомненно, что о многих проблемах, имеющих для них очень большое значение, они услышат впервые. Но доклад получался длинный, по существу — лекция, наши данные отчасти «тонули» в общей картине, а один из самых эффектных разделов работы — эмбриональные антигены — шел в конце, отдельно от общей схемы. У меня не было уверенности, что хватит времени дойти до них и что аудитория выдержит. Я составил подробный конспект доклада — он тоже сохранился в «склочной папке». Оставалось уточнить ряд данных из работ, оттиски которых должен был привезти Ося. Но я не был доволен результатом, да еще, как всегда перед докладом, особенно выпуклыми становились детали, в которых был не очень уверен. А аудитория должна была быть очень высокого уровня — в генетике, биохимии и биологии развития.

Мы обсудили с Осей сначала всю фактическую сторону доклада, потом его структуру. Ося жался, мялся, потом все же сказал, что это, скорее, двухчасовая академическая лекция для безмятежной обстановки, а совсем не то, что нужно в данной ситуации. Он был прав. Надо было в центр выступления поставить собственные работы и уже вокруг них строить общую картину. Надо было отбросить значительную часть материала и сделать доклад более резким и броским. Времени для этого почти не оставалось — только вечер и завтрашнее утро. Я набросал новый вариант текста, выбрав для него только две темы — эмбриональные антигены и проблему «нормальных аналогов онкогенных вирусов», где у нас были абсолютно первичные результаты. Оба вопроса были интересны и с общепромологических позиций. Я решил дать их как два аспекта иммунологического изучения опухолей.

В понедельник утром я просмотрел текст, немного подправил его и решил не задерживаться дома во избежание возможного «привода» в институт. Поехал к Эле в Институт биологии развития, задолго до доклада. Обстановка в институте — спокойная и рабочая — поразила меня своим контрастом с тем, что творилось и во мне, и в нашем институте. Эля провела меня к М. С. Мицкевичу, с которым я тогда впервые познакомился. М. С. сказал, что совместное заседание пытаются отменить или отложить, что ему (или Астаурову?) звонил академик-секретарь Отделения биологии АН член-корреспондент Г. К. Скрыбин, который упоминал разговор с нашим академиком-секретарем В. Д. Соловьевым и рекомендовал не устраивать заседания. Он говорил, ссылаясь на Соловьева, что как раз сейчас в Институте Гамалеи рассматривается вопрос об усилении нашей работы и создании для этого оптимальных условий. Заседание в Академии будет неуместным и излишним. Но ему ответили, что народ оповещен, специально приедут иногородние, доклад давно запланирован, уже откладывался и отменить его невозможно. Были звонки и В. А. Энгельгардту, но он не реагировал на них.

У меня все же не было уверенности, что доклад состоится. Времени до начала было много, и я пошел прогуляться, чтобы сосредоточиться перед выступлением. День был сырой и пасмурный. Я делал круги — от транспортного агентства к метро, к салону причесок и обратно. Время тянулось медленно. Мысли разбегались.

Я не был уверен, смогу ли сделать внятный доклад. О том, что сейчас творится в нашем институте, я старался не думать.

Наконец время прошло, я зашел в институт, и вместе с Элей, Мицкевичем и Детлафом мы отправились через дорогу в Институт молекулярной биологии. Народу было уже много, и он все прибывал. Было много знакомых и незнакомых сотрудников из Института молекулярной биологии и биологии развития, многие из блохинского Института онкологии — Свет-Молдавский, Васильев, Дейчман, Гельштейн, Погосянц, Степина, кажется, Мазуренко и Шапот, были Хесин и Шапиро из Курчатковского, из университета и Герценовского института — мои однокурсники Локшина, Пинус, Зотин. Был Браунштейн и, кажется, Прокофьева-Бельговская. Пришел Виктор Тер-Григоров, и, надо сознаться, я не обрадовался его приходу. Лыко в строку Барояну! Никого из института и никого из моих сотрудников — ни членов Совета, ни Наташи Энгельгардт, ни Брондза, ни Оси — не было. Значит, специально не пустили, ни старших, ни младших — никого.

Должен был быть Белозерский, а потом, вместо него, Баев, — но они не пришли. Появились Энгельгардт и Астауров. Кажется, Мицкевич открыл заседание и предоставил мне слово.

Кафедра сразу привела меня в нормальное состояние — сказала многолетняя привычка. Доклад (по моему ощущению) шел стройно, ясно и с подъемом. Я все успел рассказать, и, по-моему, хорошо. Во всяком случае, я все время чувствовал напряженное внимание аудитории и ее интерес. Потом пошли вопросы — их было много — с места и записками. Записки я сохранил. Судя по вопросам, всё было в порядке — главное донесено, и интерес возбужден.

Потом пошли выступления. Первым выступил Свет-Молдавский, без всякой рисовки, как он иногда умеет — широко, ясно, красиво и в сильных выражениях. Он говорил о том, что наши работы, совсем еще свежие, стали классикой, о своеобразии нашего подхода, о биологическом значении изложенных работ. Новая аудитория подхлестывала его, и он говорил превосходно.

Выступали Георгиев, Мицкевич, Астауров.

В своем заключительном слове я подчеркнул важность вирусолого-иммунологического подхода в онкологии и неразделимость этих двух аспектов проблемы.

В.А.Энгельгардт закрыл заседание. Я не помню точно его заключения, но он, кажется, был вполне доволен.

Астауров после заседания сказал мне, что он только что вернулся из Новосибирска, где ему очень нравится институт Беляева¹⁵, и как только Беляев приедет в Москву, он свяжет меня с ним.

Я был всем очень доволен. Положение уже не казалось таким страшным. Все выражали сочувствие, симпатию, хвалили доклад.

Роман Хесин подвез нас с Элей и Виктором на своей машине в Беляево к Неле Куприной (моей сотруднице), куда должен был приехать и Гурвич после Совета в институте.

Неля уже бегала куда-то звонить к нашим, и ей сказали только, что «хорошо» и что Гурвич скоро приедет и сам расскажет. Вскоре приехал Гурвич, веселый (относительно), довольный, — с ним, кажется, Брондз, Наташа, Дина Эльгорт и Валя Полторанина. Их первый вопрос был — как у вас? «Хорошо...» Мы бросились обнимать и целовать друг друга.

Гурвича засыпали вопросами. Он сказал: «Все по порядку», — вынул бумажку, где записывал ход Совета, и начал по пунктам рассказывать. У меня в памяти сохранились лишь куски его рассказа.

¹⁵ Институт цитологии и генетики СО АН СССР.

Бароян начал с того, что я не считал нужным явиться на Совет, так как предпочел делать доклад в «обществе животноводов» (или что-то в этом роде) — так он интерпретировал Совет по биологии развития животных. Он хотел усилить мою лабораторию и послал туда двух отборных молодых специалистов — преподнес на «блюдечке с золотой каемочкой». (Голос: «Лучше бы нам дали!») Но Абелев отказался их брать, потому что хотел взять — хотите прочту?! — и он раскрыл папку с моим досье. «Не надо! Не надо!» — закричали из зала. (Речь шла об Упоровой, которую хотела взять Артамонова.)

Затем он прочитал мое заявление — слово в слово, но последнюю фразу «Отчет за 1971 г. мною представлен 2.12.71 г.» он прочитал: «Отчет за 1971 г. я представлять не буду». Тут возмущенный Гурвич, у которого в кармане лежал мой черновик, закричал: «Это неправда! Он написал, что отчет представил». Бароян обрадовался: «Ах, значит, вы знали, значит, вы настроили его подавать заявление. Я специально вас поймал на этом». Затем шло что-то невразумительное. Бароян доставал из папки бумаги, тряс ими, поминал Брондза, идеологическую работу, необходимость усиления лабораторий, а также и то, что «надо дать расти Шевлягину».

Затем отчитывался Шевлягин. Он говорил только о научной стороне работы, из сотрудников никого не поминал, о существовании отдела не сказал ни слова. Гурвич спросил его в лоб: «Как вы относитесь к ликвидации отдела? Считаете ли вы это полезным или вредным? Считаете ли вы, что в состоянии руководить такой сложной лабораторией?»

На Гурвича закричали. Вадим Шевлягин невозмутимо отвечал, что упразднение отдела — не его функция, что он работал в отделе, а теперь будет работать вне отдела — он не хочет входить в компетенцию дирекции. Что же касается руководства лабораторией, то его назначили, и он этого обсуждать не будет. При этом Вадим очень обиделся на нетактичные вопросы Гурвича (потом он говорил о его «солдатском юморе и казарменных шуточках»¹⁶).

Гурвич выступил и сказал, что делается вредное дело, уничтожается один из лучших в стране коллективов по онкологии и т.п.

Что было дальше — я не помню. Но общее впечатление — смятение и неуверенность Барояна. Я не могу сейчас восстановить деталей и наверняка кое-что перевираю, так как сам там не был.

Параллельно с Советом было устроено другое совещание. Каулен (заместитель директора) вызвал всех сотрудников, и старших и младших, лаборатории (или отдела) и каждого спрашивал, будут ли они подавать на конкурс, так как уже время готовить документы и дирекция должна знать, кто будет подавать, чтобы все прошло нормально. Раньше я очень просил сотрудников никакой «волны» не поднимать, на провокации не поддаваться, порядки соблюдать и т.д. Они старались придерживаться этого, чтобы мне не повредить — такой обычный резон, заставляющий удерживаться от самых естественных поступков! Кроме того, совещание у Каулена застало их врасплох. Они отвечали невразумительно, в общем положительно. Один Брондз («Брондз есть Брондз») заявил, что, насколько он знает, Абелев уходит из института и что ему совсем не безразлично, кто будет руководить лабораторией. И пока вопрос о судьбе лаборатории не будет выяснен, он подавать на конкурс не будет. Каулен заявил, что он ничего не знает и что, независимо от того, останется Абелев или нет, лаборатория существовать будет и не надо связывать это с Абелевым.

¹⁶ Гурвич действительно всю войну прошел солдатом — от Москвы до Праги.

Я не знаю точно, как это было, потому что помню только отрывочные рассказы очень себя ругавших сотрудников.

Было ясно, что «Голос Израиля» не помог Барояну и, очевидно, наметился перелом, по крайней мере субъективный, в ходе событий.

Мы радовались и веселились, хотя никаких объективных сдвигов и не произошло. Но не это было главным. Капкан не захлопнулся. Нас не окунули в дерьмо. Бароян был в некоторой растерянности. С нами оказалась вся научная Москва. Положение не было безвыходным, к чему оно, как еще вчера казалось, неминуемо шло.

Очень скоро наступили и объективные сдвиги. Через несколько дней после заседания в Академии член Совета по молекулярной биологии член-корреспондент АН Г. П. Георгиев и Т. А. Детлаф посетили Н. Н. Блохина и В. Д. Тимакова и передали им заключение Совета по моему докладу, подчеркивавшее важность исследований, уникальность коллектива, неразрывность вирусологического и иммунологического подходов в онкологии и заинтересованность Академии наук в этих исследованиях. Я узнал об этом много позднее. Не знаю, о чем они говорили, но разговор, по-видимому, не касался сложившейся ситуации, а имел подчеркнуто научный характер. Думаю, что этот «демарш» имел огромное значение в нашем деле. Тимаков — президент АМН, совсем недавно избранный в АН, совсем не хотел выступать в негативной роли перед наиболее авторитетными академиками, а Блохин, по-видимому, увидел, что раз Большая Академия открыто поддерживает нас, за мной, следовательно, нет никаких серьезных «грехов», делающих нежелательным общение со мной. Сам же Н. Н. относился ко мне и с симпатией, и с научным уважением.

Контакты с Николаем Николаевичем — по поводу Государственной премии Крюковой, нашего выдвижения на премию с его сотрудниками, участия в комиссиях в его институте и по поводу устройства Тер-Григорова — создали уважительные и доверительные отношения между нами. Он привлекал меня в качестве арбитра в самых разных ситуациях, при всяком удобном случае поддерживал и постоянно популяризировал нашу работу в своих устных и письменных выступлениях и вообще многократно в самых разных ситуациях демонстрировал свое уважение и человеческое доверие. Я очень ценил эти отношения, а Николай Николаевич нравился мне своей интеллигентностью, широтой, терпимостью, доброжелательством, умом и особым юмором. Он, несомненно, выдающаяся фигура в нашей онкологии, да и в Академии вообще. Он стремился создать хороший институт, с настоящей наукой, демократическими порядками, не любил и не поддерживал склок — и вообще понимал дело и болел за него. Когда облако разнообразных подозрений, создаваемое вокруг меня, несколько развеялось, он мог отнестись ко мне по-прежнему. Этому, несомненно, способствовали и реакция его сотрудников — Свет-Молдавского, Васильева, Дейчман, Мазуренко, да и вообще вся атмосфера в его институте, равно как и академическая поддержка.

Вскоре после конференции в Академии Блохин говорил с Васильевым и дал ему понять, что поскольку я ухожу из Института Гамалеи, то ему ничего не мешает взять меня к себе в институт. При этом он хотел выяснить, не веду ли я игру с Барояном. Юра немедленно сообщил это мне, и я тут же написал Блохину письмо, черновик которого у меня сохранился (это было 9 декабря 1971 г.). Блохин попросил меня сначала позвонить, а затем заехать к нему домой.

К этому времени у меня начались отношения и с Медицинской Академией.

На следующий день после доклада в Большой Академии я пришел на работу: надо было еще «отработать» две недели, после чего заявление автоматически вступало в силу. Ко мне зашел очень возбужденный В. Н. Гершанович, завлаборато-

рией биохимии в отделе Тимакова, и сказал, что Тимаков интересовался тем, что происходит с отделом, что он не в курсе дел, что письма моего он не получил (он очень удивился, что такое письмо на его имя было) и просил передать мне, чтобы я снова написал ему официальное письмо с просьбой о восстановлении отдела. При этом он выражал недовольство и упразднением зильберовского отдела без его ведома, и тем, что письма, направленные ему, пропадают и возвращаются к Барояну.

Я немедленно составил письмо Тимакову, вернее — в президиум АМН, чтобы оно снова не ушло в Отделение, и на следующий день — 8.12.71 — оно было передано секретарю президента. Копия у меня сохранилась.

Объединение отдела в институте мне казалось и невозможным, и бессмысленным, так как Бароян никогда бы не пошел на такое посрамление, а если бы и вынужден был пойти, то работать мне с ним после этого было бы невозможно. Он бы сделал все, чтобы опорочить меня и разогнать отдел.

Безусловный страх и неукоснительное выполнение его распоряжений и приказов были основой «правления» Барояна в институте, и на подрыв своего «авторитета» он никогда бы не пошел без жестокой борьбы. На борьбу с ним меня тянуло меньше всего. Это не привлекало меня и само по себе, и, как говорил Гурвич, мы были «в разных весовых категориях». Поэтому я ссылаясь в своем заявлении на упразднение отдела и просил о переводе хотя бы одной лаборатории в институт Блохина. Одновременно я послал личное письмо Блохину, рассчитывая на его помощь при переходе.

Вскоре состоялись встречи и с Блохиным, и с Тимаковым.

Николай Николаевич просил меня зайти к нему домой, чтобы спокойно все обсудить. Жил он в бывшем Доме правительства¹⁷ на Берсеневской набережной, в доме рядом с кинотеатром «Ударник». Принял он меня очень по-домашнему, в комнате, все стены которой были увешаны картинами. Николай Николаевич был большим знатоком и любителем живописи, знал художественные музеи во всех городах, сам покупал картины и для себя, и для института, где во всех коридорах клиники висели отличные эстампы. Его домашняя атмосфера — спокойная, устойчивая, комфортная — настолько контрастировала с той, в которой я тогда находился — нервной, издерганной, постоянно меняющейся, полной слухов, бесконечных обсуждений, телефонных переговоров из замерзшего автомата, — что я почувствовал себя чужим в этом совсем другом мире.

Николай Николаевич очень внимательно слушал мой рассказ, искренне изумляясь барояновским действиям и их форме. В то время он даже дружил с Барояном домами и знал его как умного, наблюдательного и острого собеседника, «не без своеобразной интеллигентности», как он сам говорил. Ему, по-видимому, было трудно совместить в одном Барояне эти, казалось бы, взаимоисключающие качества.

Николай Николаевич готов был взять нашу лабораторию (и, может быть, часть зильберовской) к себе в институт с тем, чтобы остальная часть отдела переходила в Онкологический центр по мере вступления его в строй. При этом он считал абсолютно невозможным восстановление отдела в Институте Гамалеи, поскольку Бароян никогда не пойдет на отмену своего приказа, а у Тимакова не хватит силы перебороть Барояна, да и, по мнению Блохина, Тимаков не станет вступать в борьбу с активным и напористым Барояном. Переход лаборатории будет наилучшим выходом для всех. Главная трудность будет с помещениями, так как свободных комнат в институте нет. Но здесь сотрудники института проявили такую редкостную готовность помочь (Свет-Молдавский, Васильев, Мазуренко и Дейчман готовы

¹⁷ Этот дом описан Ю. Трифоновым как «Дом на набережной».

были поделиться своими помещениями), что и с этим серьезных проблем не возникло. Вообще, как только слух о возможности нашего перехода неизвестными путями распространился в Институте онкологии, спонтанная делегация самого пестрого состава направилась к Блохину. В это время в институте прекратились все внутренние трения.

Однако Блохин не хотел проявлять собственной заинтересованности и предпринимать активных действий по нашему переводу. Он полагал, что будет лучше, если Тимаков сам попросит его принять лабораторию, и тогда он сможет поставить свои условия — перевод с оборудованием, дополнительные средства и т.п. Я же сам должен был добиться у Тимакова решения о переводе лаборатории.

Это, вероятно, был правильный расчет, но я вновь оказывался один на один с президиумом, что было для меня чрезвычайно тяжелым делом. У меня какое-то врожденное уважение к людям, много старшим меня по возрасту и по положению. Мне просто физически тяжело возражать им, добиваться от них своего, тем более — вынуждать на действия, им нежелательные. Конечно, мне в тысячу раз было бы легче, если бы Блохин взял переговоры на себя или хотя бы открыто выступил вместе со мной. Но ситуация была такова, и я должен был «прожимать» решение о переводе сам. Главным было ни при каких условиях не брать заявление об увольнении обратно.

В те же дни, где-то между 10-м и 14-м декабря 1971 г., меня принял президент¹⁸. Владимир Дмитриевич был сдержанно доброжелателен. Он не стал расспрашивать о событиях, сказал, что прочитал мою докладную и что он против расформирования отдела. «Этот отдел я организовывал для Зильбера, и вас я брал в институт, и с отделом вы справлялись хорошо. Пока я здесь сижу, можете работать спокойно. (Но я-то хорошо знал, что через три месяца — в марте 72 г. — будут выборы президента и президиума, и если я к тому времени не перейду к Блохину, то все провалится. Но не спросишь же: «Сколько вы еще будете здесь сидеть?») На ближайшем президиуме мы рассмотрим этот вопрос и будем восстанавливать отдел. Никто не давал права директорам уничтожать отделы без ведома президиума».

Я взмолился и стал объяснять В. Д., что Бароян на это никогда не пойдет, что даже если отдел восстановят, то Бароян мне этого никогда не простит и жизни не даст, что единственный выход — перевод к Блохину. В. Д. возражал, что сначала надо восстановить отдел, а потом уже ставить вопрос о переходе. «Будем восстанавливать, а если не получится — будем переводить. Я поговорю с Николаем Николаевичем и выясню, сможет ли он вас сейчас взять. Но сначала будем восстанавливать отдел». При этом он говорил, что в институте все боятся Барояна, что Бароян творит что хочет, и никто не обратился в Академию, а сам он по собственной инициативе вмешиваться сверху не может, если никто из института его не просит.

Я спросил его о конкурсе: он незаконный, сотрудники не подадут документов. Он обещал выяснить.

Во время разговора в дверь кабинета заглянул какой-то сотрудник аппарата. В. Д. усмехнулся и сказал: «Сегодня же будет известно вашему, что мы с вами говорили».

Я ушел со смешанным чувством. Больше всего я боялся, что В. Д. хочет любыми средствами «погасить волну», а когда все стихнет, никому до нас дела не будет. Вместе с тем все, что он говорил и как говорил, не было похоже на игру или простое желание отвязаться.

¹⁸ Президент АМН В. Д. Тимаков.

* * *

Между тем в лаборатории и в отделе началось сильное брожение. Критическая ситуация, полная неопределенность, надвигающийся срок конкурса и прямое обращение Каулена к каждому сотруднику — все это привело к тому, что сотрудники сами взялись за дело.

Документов на конкурс никто не подавал (срок истекал 23.12.71). Кое-кто начал искать работу поближе к месту возможного перехода. Так, Наташа Энгельгардт (с кем-то еще из сотрудников) обратилась к Н. П. Мазуренко, который был этим очень тронут и обещал в случае необходимости взять их до прояснения моей ситуации.

Брондз вел переговоры где-то в Сельскохозяйственной академии о возможности перехода всей лаборатории.

Гурвич и Крюкова говорили с Астауровым о переводе части отдела в Институт биологии развития (правда, без положительных результатов — в институте не было места).

Б. А. Лапин — директор Сухумского института экспериментальной патологии — передал мне приглашение работать в его институте.

Велись бесконечные разговоры, строились планы, обсуждались варианты — весь отдел пришел в возбуждение, все чувствовали, что надо срочно что-то предпринимать, и решали, что именно. Если после приказа Барояна и до моего заявления мы думали о «тихом уходе», то после моего заявления, Ученого совета и, я думаю, особенно после совещания у Каулена, когда каждый был поставлен перед личным вопросом — что делать? — сотрудники «взорвались» и начали действовать сами.

Как только стало известно о вмешательстве Тимакова и предстоящем президиуме, они стали готовить, помимо меня, коллективное письмо в президиум АМН. Имея в виду опасность «коллективов», его подписали Наташа Энгельгардт и Ольга Лежнева как самые «старые» сотрудники лаборатории. Гусев то ли сам не решился подписывать, то ли его отстранили от этого, как члена партии, которому это могло обойтись дороже всех. Также были отстранены от подписания Ильин, Постникова и Карамова — по той же причине. Крюкова по собственной инициативе (я совсем не знал об этом) написала письмо в отдел науки ЦК. (Копия одного письма сохранилась.)

На конкурс никто не подавал, кроме, кажется, Гардашьян и Шевлягина.

Одновременно к Тимакову обратился писатель В. А. Каверин — брат Л. А. Зильбера — с очень резким письмом, где он просил сохранить отдел его брата и очень нелицеприятно отзывался о Барояне. Этого письма я не читал, но его, кажется, зачитывали на президиуме, о чем рассказал один из его членов.

Руководитель лаборатории Института физиологии растений АН, много работавший у нас в лаборатории, — А. Д. Володарский обратился к Тимакову с письмом в защиту нашей лаборатории (я узнал об этом позднее).

Бароян в первое время после Ученого совета меня не трогал — то ли выжидал развития событий, то ли замыслил какой-то новый ход. В один из этих дней утром ко мне зашла профессор Д. Г. Кудлай — заведующая лабораторией эпидемиологии в отделе Тимакова, пожилая суматошная женщина, очень партийная, часто агрессивная. Она сказала, что по пути на работу зашла в дирекцию (просто так у нас в дирекцию не заходят) и застала там Барояна, обсуждавшего со своими приближенными мое поведение. Она «конфиденциально» сообщила мне, что, по убеждению Барояна, мое заявление свидетельствует о моем намерении ехать в Израиль. Никак по-другому этого истолковать нельзя. И что мне лучше взять его обратно — в этом случае

он не даст хода делу. Она «советовала» мне пойти к Барояну, попросить его смягчиться и взять заявление обратно. При этом она поминала Гурвича и собиралась зайти к нему тоже. (В том же разговоре она дала мне еще множество советов, один из них — вести себя в общественном смысле как все и не раздражать общественность. Например, выпел «Бригада коммунистического труда» у меня в комнате висел в углу под разросшимся аспарагусом, — она посоветовала перевесить его на самое видное место и т.п.)

Стало ясно, что Бароян пытается сочинить новые политические прегрешения, теперь вокруг моего заявления, и одновременно хочет, чтобы я его взял обратно.

Обстановка на работе была крайне нервной, напряженной, каждый час мы ждали каких-нибудь провокаций и новых нападков со стороны дирекции, — ходить в институт было просто небезопасно, а надо было дотянуть до президиума без особых осложнений. Все — и на работе, и дома — усиленно просили меня взять больничный лист. Мне как-то не хотелось прятаться, но сотрудники связались с врачом, которая лечила мне зубы (дважды в году меня схватывала сильнейшая зубная боль, и это было единственное место, куда я ходил лечиться). Врач — очень симпатичная женщина — просила меня сразу же к ней прийти, посмотрела мои всегда побаливавшие зубы, посокрушалась, что сейчас впервые, как назло, они в порядке, но нашла какое-то воспаление и выписала мне бюллетень сразу на две недели. С большим облегчением я засел дома и начал готовиться к предстоящему президиуму.

Президиум ожидался 15 декабря. Я был почти уверен, что Бароян пойдет «ва-банк» и поставит меня в положение, когда я должен буду давать перед президиумом объяснения — и почему я не пришел осуждать Бурштейна, и по моему отношению к Израиллю и к передаче «Голоса». Это, конечно, было бы самым трудным, и я пытался продумать на этот, очень вероятный, случай все возможные варианты. Другой вариант решения президиума — отдел восстановить, но с другим, «сильным», заведующим.

В один из первых дней моей «болезни» к вечеру приехал Гусев. Его вызвал Бароян, дал понять, что он как партиец несет в лаборатории ответственность за поведение мое и сотрудников, и просил поехать ко мне с предложением прийти к Барояну для разговора, взять заявление обратно (не взять, а написать новое с просьбой не считать первое действительным), и в этом случае он обещает, что все сотрудники пройдут конкурс. Гусев аккуратно помянул Брондза, и Бароян подчеркнул, что и Брондз тоже пройдет. Он также туманно намекнул, что в дальнейшем можно будет восстановить отдел.

Я наотрез отказался, понимая, что все это нужно Барояну сейчас, чтобы остановить предстоящий президиум, чтобы я предстал в смешном свете и остался с ним один на один, без всяких посторонних вмешательств. Я просил Толю передать, что ничего уже восстановить нельзя и что я прошу президиум о переходе к Блохину. Толя не оказывал на меня давления, не давал советов, но был очень взволнован и не имел уверенности в том, как поступать лучше. И находился он между двух огней в очень опасном и уязвимом положении. Он всегда использовался как заложник. В «деле Брондза»¹⁹, когда он был парторгом отдела и действительно ничего не знал ни о письме Штерцля, ни об ответе Брондза, его разбирали на партийном бюро института («почему он не знал?»), и Бароян довел разбор вплоть до голосования об исключении Гусева из партии. Перед самым голосованием он решил «простить»

¹⁹ Чешский иммунолог Ярослав Штерцль в 1968 г. пригласил Б. Д. Брондза на иммунологическую конференцию. Брондз, несмотря на сложную политическую ситуацию, выразил желание поехать в Прагу, за что едва не был уволен из института.

Толю и «повременить» с его исключением. Метод «заложников», когда он ставил действующее лицо в положение, при котором точно пострадают другие, по «делу» с ним не связанные люди, был его профессиональным приемом. Другой прием — раздуть само по себе маловажное дело (как то же «дело Брондза»), довести его до крайности и в решительный момент остановиться, став при этом еще и благодетелем. Как он неоднократно мне впоследствии говорил: «Ты же знаешь, я часто поднимаю кулак, но редко его опускаю». Это был для него не просто прием — это был мощный источник удовлетворения. Этим он жил: становился великим, устраивал представления, карал, миловал, — но всегда внушал страх. Он не скрывал в своих разговорах, что авторитет не может быть без страха.

Толя сидел поздно, до глубокой ночи, курил, думал, взвешивал, сомневался, но, как мне кажется, внутренне одобрял мое решение, хотя и не был уверен в его последствиях.

Следующий визит, тоже вечером, нанесли Гурвич вместе с моей лаборанткой Валей Полтораниной. Гурвичу позвонил академик-секретарь В. Д. Соловьев, о котором я уже не раз упоминал, и просил найти меня, чтобы я ему немедленно позвонил или приехал. Гурвич по себе знал, как может давить Соловьев, а сейчас он сам был «замешан» в деле, против которого выступал президент, и был поэтому особенно опасен. Гурвич отправился ко мне, но не обычным путем, а пешком через Москву-реку, в расчете, что так будет дольше. Провожать его вызвалась Валя. Они действительно заблудились, попали в лес, сильно замерзли и добрались до меня только к вечеру, чем и были очень довольны.

Деваться было некуда, надо было звонить, но был хотя бы вечер на обдумывание.

На следующий день я звонил Соловьеву. Он ждал моего звонка. Был очень любезен, интересовался здоровьем, пожурил Барояна («нашего директора») и меня за горячность (или что-то в этом роде), предложил выступить в качестве примиряющей стороны. Я пытался объяснить Соловьеву, что единственный и самый безболезненный выход — переход в Институт онкологии, что Блохин готов взять нас и просил посодействовать переводу. Соловьев не спорил. Он не возражал против перехода и даже брался помочь в этом. Но не сейчас. Такие вещи сгоряча не делаются. Здесь надо подготовить почву и в институте, и в Академии. Он обещает мне помочь, я могу на него положиться. Но сейчас нам надо втроем встретиться с Барояном, мне надо забрать заявление, отказаться от президиума, а он, Соловьев, гарантирует мне ликвидацию конфликта. Разговор был долгий и мучительный. Кончился он тем, что либо я обещал еще подумать, либо он просил меня подумать до окончательного ответа и завтра позвонить ему.

Думать мне было нечего, но говорить с ним еще раз я был не в состоянии и мог просто не устоять. Наутро я написал Соловьеву письмо, черновик которого у меня сохранился. Так было и легче, и вернее. Это было 14 декабря, накануне президиума.

15-го ожидался президиум, на который меня могли вызвать. Я был в контакте с сотрудниками, так что мне бы обязательно передали вызов. Но меня не вызывали. Я ждал дома. В это время вдруг пришел Борис Карулин, секретарь институтской парторганизации, с которым у меня были дружеские и вполне доверительные отношения еще со времени «дела Гурвича». Бароян знал об этом и послал Карулина ко мне все с тем же предложением.

Здесь произошел некоторый инцидент. Эля, ожидавшая президиума вместе со мной дома и бывшая, как и я, в большом напряжении, услышав, что кто-то пришел от Барояна — и кто-то, похожий по фамилии на Каулена, начала наступать на Бориса почти с кулаками и требовать, чтобы они все отстали от меня, говоря, что они

хотят убить меня. Борис очень смутился и смешался, а я еле-еле успокоил Элю, заверив, что Борис мне ничего плохого не хочет. Но Эля все время оставалась при нас, и Борису было явно не по себе.

Бароян через Карулина передавал все то же: я должен зайти, взять заявление обратно, он никому не повредит. Я думаю, что Бароян еще и специально выбрал время — Карулин пришел как раз за час до президиума, чтобы заблокировать меня. Борис о президиуме ничего не знал. Он не нажимал на меня, но и не хотел, чтобы все кончилось нашим уходом из института, так как болел и за институт, и за нас. Он просидел у меня допоздна, чувствуя себя неловко, как бы посланцем Барояна, и не зная, что посоветовать. В любом случае он желал мне удачи.

Пришла Таня Белошапкина, моя сотрудница, узнать, нет ли новостей. Мы с ней поцеловались, она испуганно косилась на Бориса, и он почувствовал себя совсем сконфуженно. Но что он мог сделать против Барояна? И чем мог помочь? И мог ли гарантировать, что Бароян сдержит слово, когда волна погаснет? И мог ли советовать мне продолжать стоять на своем? Конечно, ничего этого он не мог.

Что было на президиуме 15-го, я точно не знаю. Некоторые сведения, вернее — обрывки сведений, мы имели от Н. А. Федорова, академика-секретаря Биологического отделения АМН и члена президиума. Николай Александрович хорошо знал Гурвича, который с ним работал сразу после войны, и хорошо относился ко мне. У нас в лаборатории долго работала его близкая сотрудница, очень славная и толковая женщина, которая восторженно относилась к нашей работе и человеческим отношениям в лаборатории. Узнав о наших делах, она оказывала нажим на Н. А. и связала меня с ним.

Кроме того, незадолго до этих событий, зимой 1969 г. я участвовал в комиссии по проверке работ Б. А. Лапина в Сухуми, которую возглавлял Федоров. Комиссия была очень сложной, и Н. А. проявлял ко мне полное доверие — как к ученому и человеку.

Н. А. — человек интеллигентный, порядочный и вполне доброжелательный. Но будучи не раз «бит», он вел себя очень осторожно, ни с кем не обостряя отношений. От него мы кое-что узнавали о ситуации в президиуме и очень надеялись на его поддержку изнутри. Барояна он просто возненавидел — говорил, что у него в институте концлагерь, что работать с ним опасно для жизни. Он обещал поддержать просьбу о переходе к Блохину и тоже считал это единственно возможным выходом.

Как мы узнали от него, на первом президиуме Тимаков рассказал о «самоуправстве» Барояна и познакомил присутствующих с письмами и заявлениями, которые у него скопились. Он считал, что надо поставить Барояна на место и восстановить отдел. Никакого решения принято не было. Этот вопрос был перенесен на следующее заседание — 22 декабря.

Я понимал, что сейчас последует наибольший нажим со стороны Барояна и Соловьева, и опасался даже оставаться дома. Пару дней я провел у сестры жены, не находил себе места, думал о возможных оборотах дела на президиуме.

Бароян вызвал Гурвича, обратился к его дружеским чувствам ко мне. Теперь он твердо обещал сохранить всех в отделе, никого не увольнять на конкурсе и, более того, со временем восстановить отдел, может быть, с другим названием и структурными изменениями. Он давал слово и говорил вполне серьезно. В любом случае он хотел, чтобы я приехал к нему на разговор. Гурвич колебался. Пожалуй, Барояну можно было поверить. Но оставаться с ним было очень опасно, тем более, что формально он ничего не отменял — ни своего приказа, ни даже конкурса. Гурвич не оказывал на меня никакого давления. В общем, он допускал мысль о возвращении в институт, но, как мне показалось, почувствовал облегчение, когда я

все же не согласился с такой возможностью. Однако уклоняться от разговора с Барояном становилось все труднее.

После первого президиума (15. 12) у меня опять была коротенькая встреча с Тимаковым (я не помню даты). В. Д. сказал, что меня вызовут на президиум, что он будет восстанавливать отдел (одобрил, как мне показалось, отказ взять заявление обратно), но как-то уклонился от разговора о переводе к Блохину, опять сказав, что сначала здесь восстановим, а если не получится — будем переводить. В разговоре он упрекнул меня, что я не хочу разговаривать с моим директором и что Бароян на это жалуется. Он неодобрительно отозвался о Шевлягине, спросил, какие у нас отношения. Я сказал, что вполне нормальные, но Шевлягин просто боится Барояна. Он посомневался, только ли боится, сказал, что позиция Шевлягина сильно мешает делу, но что еще неизвестно, утвердит ли его президиум на заведование лабораторией. Было бы хорошо, — сказал Тимаков, — чтобы Шевлягин тоже к нему обратился.

Я поговорил об этом с Вадимом, но он отказался, ссылаясь на то, что он слишком малая фигура, когда идет такая борьба.

В эти же дни — 18 декабря — состоялась свадьба моего старшего сына. Она прилась, конечно, очень не вовремя, но все события шли как-то мимо него и его невесты, которые хотели пышную свадьбу с фатой, кольцами, рестораном и свадебными машинами. Обижаться на это не приходилось, конечно: жизнь шла своим чередом. Но на свадьбу ушли последние деньги, лежавшие на книжке, — 600 рублей, причем у нас образовался долг в 1000 рублей. В случае временной безработицы на одной Элиной зарплате (300 рублей) оказались бы я, два сына-студента, невестка-студентка и кооперативная квартира (55 рублей в месяц). На случай перерыва в работе запаса не оставалось. Правда, у меня было, по крайней мере, полтора неиспользованных отпуска (это 3 месяца), и вскоре нам должны были утвердить открытие, а это тоже оплачивалось.

Тогда же случайно, но очень ко времени я купил книжку «Права работника науки» — очень толковую — и с удивлением узнал, что конкурс может быть объявлен только на вакантные места, а на место, занятое научным сотрудником, — только переизбрание на новый срок. В случае неизбрания можно объявлять конкурс. Значит, объявление конкурса в нашем случае — незаконно!

Я сразу же поехал в институт, рассказал об этом сотрудникам и пошел в отдел кадров к Никитину, выяснить, на каком основании объявлен конкурс на занятые должности. Если должности вакантные, то почему нет приказа об увольнении сотрудников и их временном трудоустройстве? Это было прямое нарушение трудового законодательства! Никитин мог за это ответить вместе с директором.

Никитин сначала ничего не хотел объяснять, ссылаясь на приказ Барояна. Но я требовал ответа от него, так как он, как начальник отдела кадров, не может нарушать закон. Никитин вертелся, ссылался на какой-то маловразумительный приказ министра, который было довольно трудно истолковать, и под конец начал хамить: «Вы лучше своим делом занимались бы как следует, а не моими делами». В ответ я заорал ему, что если бы он знал свое дело, как я свое, то не было бы безобразий и мне не надо было разбираться в его делах. Я пообещал ему обратиться в ВЦСПС и в газету, прибавив, что никакие ссылки на директора ему не помогут.

Сотрудники очень ухватились за эту идею, быстро составили письмо в ВЦСПС, а копию отвезли в президиум. (Копия этого письма у меня сохранилась.) Письмо было от цехового профсоюзного комитета, члены его — Тихонова и Обух повезли письмо в ВЦСПС, но встречены были, как я уже писал, более чем прохладно. Никакой реакции со стороны ВЦСПС не было. Кажется, кто-то оттуда позвонил Никитину — узнать, в чем дело.

Это было 20 декабря. Во второй половине того же дня состоялся разговор с Барояном. Он длился четыре часа и был очень тяжелым. Я уже писал, что мне трудно и как-то неудобно противоречить и ставить в неловкое и зависимое положение людей старше меня по возрасту и по положению. Мне особенно трудно настаивать на своем в разговоре один на один, да еще если он ведется в мирном и даже дружеском тоне. Я понимал только одно: президиум, а с ним и желанный переход — послезавтра. Мне надо выдержать этот разговор во что бы то ни стало. А Барояну надо во что бы то ни стало вернуть мне заявление и отменить президиум.

Мне трудно восстановить этот мучительный разговор во всех деталях.

Бароян вполне мирно меня встретил, начал попрекать тем, что я не пришел к нему раньше, говорить, что, может быть, хватит переписки, и вообще — как я мог пойти к Коростелеву, а не к нему. Надо сказать, что после 10-го ноября, — когда он зачитал мне приказ, — мы с ним не встречались. Он сказал, что он был очень уставшим, мы оба погорячились, что пора кончать конфликт, нечего его расширять и выносить за пределы института. Что я знаю, как он ко мне относится, и незачем мне было обращаться к Энгельгардту и Тимакову. Ведь он выдвигал меня и в Академию, и на Государственную премию, так почему же Тимаков не защищал меня в Академии и в Комитете? А Энгельгардт пишет ему — Барояну — о значении наших работ! Как будто не он лучше всех знает их значение, помогает им и создает им международную репутацию. Ведь не Энгельгардт, а он пробивал меня, под личную ответственность, при поездках за границу. «Ведь ты же знаешь, что я поднимаю кулак, но редко его опускаю!» При этом он делал намеки на внешние обстоятельства, с которыми он вынужден считаться, ссылаясь на анонимки, по которым он должен отчитываться.

О Блохине отзывался снисходительно. «Он, конечно, неглупый человек, но для него всякий мальчик, из тех, которые тут ходят (он показал на плечи, намекая на погоны), — большой русский начальник, а передо мной они навывтяжку стоят. Ничего он для тебя не сделает. Если он хочет брать тебя, то я поставлю условие, чтобы брал весь отдел. А весь отдел он не возьмет — ему некуда. На Тимакова тоже не полагайся, он ничего для тебя не делает. Пиши заявление, подавайте на конкурс, а я обещаю, что отдел со временем восстановлю, ну «пококетничаю», но для виду, не больше».

Я отвечал, что за все хорошее ему благодарен, и он знает это, но пусть он отменит свой приказ, который я никак принять не могу, и унижительный незаконный конкурс, на который я в любом случае подавать не буду.

О конкурсе он сказал: «Да можешь и не подавать, это ерунда, а заявление возьми обратно. Приказ же я никогда не отменю. Один только Бог может меня заставить отменить приказ, да и то после моей смерти».

Это было единственной опорой в моей позиции, позволявшей мне держаться.

«Разве ты не веришь, что я сдержу свое обещание? Разве у тебя есть основания не верить? Разве я не восстановил Гурвича, как обещал? А от меня требовали его увольнения, и Брондза тоже. Я их отстоял, как обещал. А где были твои нынешние защитники?»

Я отвечал, что, взяв заявление обратно, я тем самым соглашусь с его приказом, чего сделать никак не могу. Если я его приму, то ни сам себя уважать не буду, ни делом руководить не смогу. Какой же авторитет будет у заведующего, если он согласится с таким несправедливым и унижительным приказом?

«Насчет авторитета, — отвечал Бароян, — это моя забота. Был при Сталине такой нарком — Ванников. Его посадили, а потом его вызвал сам и предложил очень важный пост. Ванников засомневался — какой у него будет авторитет в его поло-

жении? Сам ответил, что об авторитете он сам позаботится, и позаботился, да так, что пикнуть никто не посмел. Так что насчет авторитета — я сам позабочусь».

Я вновь настаивал на отмене приказа, говорил, что не в состоянии подчиниться и выполнять его, и разговор повторялся.

С досадой, ссылаясь на усталость, он помянул, что чисто случайно приказ он издал в годовщину смерти Зильбера.

Я несколько раз порывался уйти, но он меня задерживал. Во время разговора позвонил Соловьев, который почему-то оказался в институте. Бароян пригласил его. Надо было претерпеть и это.

Соловьев был любезен, но сдерживал раздражение. Он сказал, что все мы издержались с этим делом, вот и я болею, и директор переживает. (Тут Бароян начал жаловаться, что не спит по ночам и что сахар у него поднялся, и стал показывать справку об уровне сахара.) Давайте договоримся сами и спокойно встретим Новый год. В чем ваши противоречия?

Я, стараясь быть как можно спокойней и логичней, вновь повторил, что примириться с приказом не могу, а директор не может его отменить, и потому лучше нам разойтись, тем более что Блохин согласен нас взять. На президиуме я не буду заострять внимание на конфликте, а буду просить о переводе в Институт онкологии. Я не понимаю, почему директор против перевода. Это наилучший выход для всех.

Бароян вновь подтвердил, что ни при каких условиях не отменит приказ, но отдел со временем восстановит. Здесь он стал говорить, что на меня плохо влияют и хотят сделать «мучеником» и «знаменем», и я не должен становиться на этот путь. Соловьев злобно отозвался о конференции в Академии — «этом паскудном сборище», сказав, что и в самой Академии оно было принято с возмущением.

Мы поговорили так около часа, и Соловьев, сославшись на дела, ушел. Я тоже хотел уйти, но Бароян задержал меня. Теперь он вызвал Гурвича, хотя рабочий день уже давно кончился.

Пришел Арон Евсеевич. Бароян обратился к нему, упрекая меня в недоверии к его обещаниям. А. Е. спросил: «Можно, я скажу свою точку зрения?» — «Можно».

У Толстого есть одна притча. Крестьянин с сыном косил на лугу траву. Сыну лег отдохнуть, а в это время выползла гадюка... (Я уже слышал эту притчу от А. Е. и больше всего боялся, что он не догадается сказать не «гадюка», а хотя бы просто «змея». Но он так и сказал — гадюка.) ...и укусила сына. Крестьянин схватил косу, отрубил ей хвост и хотел отрубить голову. Но тут гадюка сказала ему: «Не руби мне голову, давай жить мирно и дружно». Крестьянин подумал и отвечал: «Нет, я не смогу тебе простить сына, а ты не забудешь мне свой хвост», — и отрубил ей голову. Я думаю, что так и у вас с Абелевым. Вряд ли вы сможете забыть прошлое.

Я не помню, как комментировал Бароян слова А. Е., и не помню, что еще говорил Гурвич. Он ушел, а меня Бароян вновь задержал. Мы оба здорово устали. Я не помню, что еще говорилось. Были в этом разговоре и угрозы: «Я ведь могу подписать твое заявление хоть сейчас». Я просил его подписать — так будет проще. Были и вполне разумные соображения (переход разрушит работу, а терять нам сейчас хотя бы год — убийственно), и ссылки, вполне справедливые, на то, что Зильбер отказался идти в клинический институт, где все подчинено потребностям клиники, а здесь он — независим. Были и поминания моих «прегрешений» — Брондза, подбора кадров, которые он вынужден будет представить президиуму, и многое другое. Я не помню, как кончился этот разговор, но я его выдержал.

В лаборатории собрался весь отдел. Все ждали моего возвращения, не понимали, о чем можно столько говорить, боялись, что Бароян уговорит меня, ходили



*А. Е. Гурвич рассказывает О. В. Барояну и Г. И. Абелеву притчу о крестьянине и змее.
Рисунок И. С. Ирлина*

к директорскому корпусу смотреть — горит ли свет в кабинете у Барояна: свет всё горел. Все были крайне встревожены и, когда я появился, начали расспрашивать. Я никак не мог рассказать связно, о чем шла речь, и почему-то меня стали отпаивать валерьянкой и кофе, хотя я был вполне вменяем.

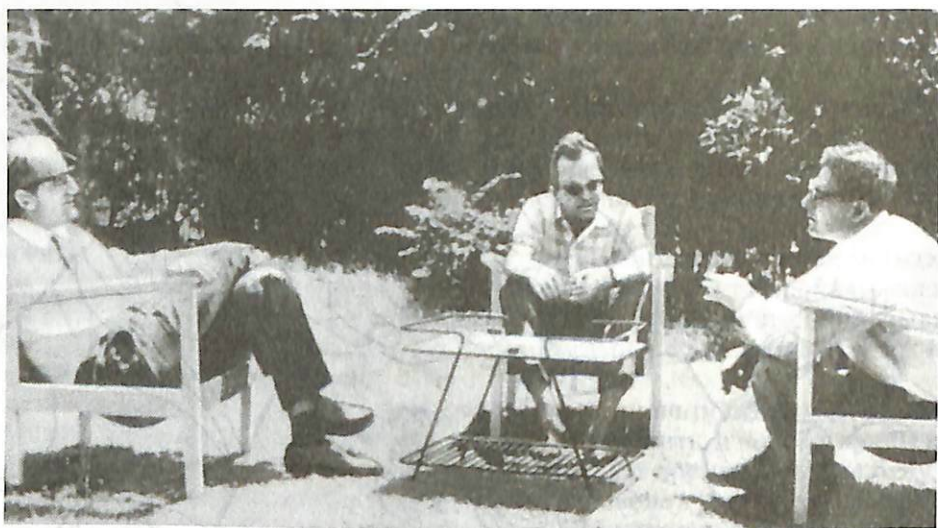
Послезавтра должен был состояться президиум.

На следующий день я тщательно готовился к докладу. Я рассчитывал, и об этом мне говорил Тимаков, что мне будет предоставлено 20 или 30 минут для изложения своей позиции и предложений. Я подготовил подробные тезисы выступления, где намеревался сказать об истории и задачах отдела и его полной нестабильности в случае разделения, о научной и административной нецелесообразности такого разделения, о невозможности продолжать работу в создавшихся условиях, и хотел представить научно и организационно обоснованный проект поэтапного перехода в Институт онкологии и воссоединения отдела на базе этого института. Я тщательно продумал каждое положение и каждый переход от одного положения к другому. Все было серьезно обосновано, и за полчаса я бы все это спокойно изложил.

При этом я рассчитывал и на поддержку в президиуме Федорова, который вопросом или высказыванием мог бы усилить мое выступление.

Блохина в Москве не было.

Президиум был назначен на 2 часа, а с утра — в 10 часов — нам должны были вручать диплом на открытие (синтез альфа-фетопротейна гепатомами и терато-бластомами животных и человека) в Государственном комитете по изобретениям и открытиям.



Проф. Рене Массиев (Дакарский университет, слева), Ю. С. Татаринов (в центре) и Г. И. Абелев (справа) обсуждают планы совместной работы. Сенегал, 1968 г.

Накануне, в связи с этим, приехал из Астрахани Ю. С. Татаринов — наш соавтор по открытию. Он уже знал о происходящих событиях. Он заехал ко мне, поинтересовался, чем может помочь, выразил уверенность, что президиум вынесет положительное решение. Я ни о чем не просил Татаринова, скорее, наоборот, посомневался в том, может ли он что-либо сделать. Но в душе очень надеялся на его поддержку. Ведь никто другой не знал так и нашей работы, и ее значения, а был он ни много ни мало ректором Астраханского мединститута и членом Астраханского обкома. Он не только знал нашу работу, но и очень многим был ей обязан. При желании он, вероятно, мог бы и обратиться в Отдел науки ЦК, поговорить с президентом или прийти на президиум. Мне ведь не очень удобно было расхваливать свою же работу. Любая поддержка была мне тогда чрезвычайно важна — ведь я должен был один выступать перед президиумом, добиваясь перехода, и Тимаков моей позиции не поддерживал.

Но в таких вещах не советуют и не просят. Каждый сам должен определять свою линию поведения, и подталкивать его никто не вправе. Я не давал советов даже своим сотрудникам, прямо заинтересованным в исходе дела. Утром 22-го мы были в Государственном комитете по изобретениям и открытиям на весьма торжественном вручении диплома на открытие. Были и соавторы, кроме Светы Перовой и Нели Храмковой, — Татаринов, Переводчикова и Краевский. Краевский — академик АМН, очень авторитетный в Академии, доброжелательный и порядочный пожилой человек. Был и Жданов — академик АМН, бывший замминистра, директор соседнего Института вирусологии — человек очень весомый и полный энергии. Он со своими сотрудниками тоже получал диплом. После вручения диплома и денег (по 640 рублей, тоже очень кстати) все собрались в коридоре, сочувственно меня расспрашивали, желали удачи на сегодняшнем президиуме, соглашались, что единственный выход — переход в Институт онкологии.

Ни Жданов, ни Краевский не выражали желания как-нибудь вмешаться. Татаринов, как мне казалось, чувствовал, что должен что-то сделать.

Времени до заседания было еще много, и мы с Нелей, Светой и Татариновым потихоньку пошли в центр города перекусить. Погода была мерзкая — сырая, зябкая, шел мокрый снег, голова была тяжелая и побаливала. Татаринов предложил зайти в «Арабат», отметить диплом и пообедать. Мне не хотелось идти в ресторан, и вообще не хотелось отвлекаться, а пить при такой голове и перед таким делом было просто невозможно. Но деваться было все равно некуда, и я пошел с ними. Татаринов как будто хотел пойти вместе со мной в Академию. Пить я отказался, но все же пришлось выпить, хотя и очень немного. Но и этого делать было нельзя. Голова еще больше отяжелела. Время шло к двум часам, и я пошел на Солянку один.

Пришел еще рано, до начала президиума. В зале перед приемной Тимакова было пусто и сумрачно. Постепенно собирались академики. Первый вопрос был не наш — он относился к какому-то другому институту, была приглашена большая группа сотрудников. Вопрос, видимо, был надолго. Приехали на всякий случай Наташа Энгельгардт и Ольга Лежнева — они ведь подписывали письмо Тимакову и могли понадобиться, да и не хотели они в такой момент оставаться в стороне. Я разжился у Ольги «пятерчаткой», и они расположились в коридоре, чтобы не отвлекать меня и не попадаться на глаза начальству. Время шло. Прошел Бароян, прямо в кабинет президента. Он был бодр. Мы оба сделали вид, что не заметили друг друга. Прошло уже больше часа. Приглашенные «по первому вопросу» уже вышли и ушли, а меня все не вызывали. Время шло к четырем, я ходил из угла в угол зала перед приемной. В зале было сумрачно, никого не было, за окном густо валил мокрый снег, голова была такой тяжелой, что мысли еле ворочались, но я надеялся, что «стресс» выручит, когда дойдет до дела, как это не раз бывало. Шел уже пятый час, потом пошло к пяти. Они обсуждали наш вопрос, но меня все еще не вызывали. Выходил озабоченный Пономарь — начальник отдела кадров Академии, вернулся с какими-то бумагами.

Президиум шел уже часа три, если не больше. Я начал думать, что они все решат без меня, и в глубине души надеялся на это. Но тут вышла секретарь Тимакова и попросила меня в кабинет.

Там был полный сбор, густо накурено — Тимакова, Соловьева, Барояна, Мардашева я знал, остальных, человек 10–12, видел впервые. Меня пригласили к столу, на меня с любопытством и доброжелательностью смотрели усталые, с воспаленными глазами лица.

Тимаков официально предложил мне изложить президиуму свою просьбу и попросил быть покороче, так как они с делом познакомились и уже очень устали. Кто-то из президиума поддержал его — чтобы покороче. Я начал, как готовился, с нецелесообразности разделения отдела в научном и организационном отношениях. Бароян — весь красный, с раскрытой папкой бумаг перед собой — перебил меня: «Почему он не говорит о письме в Чехословакию, о подборе кадров?» (Я не очень точно помню вопросы, но что-то в этом роде.) Тимаков резко оборвал его: «Это мы уже слышали. Там ничего нет!»

Я пытался продолжать. Но Тимаков встал со своего председательского места, вполне доброжелательно остановил меня, сказав: «Это мы знаем и вполне с вами согласны. Мы восстанавливаем отдел. Он был ликвидирован неправильно...»

Я почти закричал, что это невозможно, что надо перевести отдел..., но Тимаков продолжал: «Ваш директор заверил президиум, что отдел будет восстановлен, никто из сотрудников не пострадает. Президиум гарантирует вам это. Передайте сотрудникам и приступайте к работе».

Тут я вспомнил о конкурсе и опять перебил Тимакова: «А конкурс? Ведь он незаконный и унижительный!»

Тут немедленно вскочил начальник отдела кадров Академии Пономарь и, размахивая какой-то бумагой, заявил: «Конкурс мог быть объявлен на основании инструкции министерства, — он назвал номер. — Подавайте на конкурс — в течение десяти дней все будут утверждены Академией».

На меня смотрели, доброжелательно улыбаясь, но не понимали, чего я еще хочу. (Напротив меня сидел пожилой, с хорошим, интеллигентным лицом академик — уставший, умиротворяюще улыбающийся и кивавший. Потом я узнал, что это Снежневский, директор Института психиатрии и академик-секретарь клинического отделения²⁰.)

Кто-то спросил уже недобро: «Неужели вам мало гарантии президиума?» Все это происходило очень быстро. Я стоял, Тимаков тоже, и он диктовал решение стенографисткам. Я больше не нашелся что сказать. Упрямыться дальше, когда все пошло навстречу и все восстанавливают, было невозможно. Все мысли спутались. Я замолк. Мне сказали, что я могу идти. Когда я выходил, Бароян тихо сказал мне, чтобы я его подождал. Я вышел в зал со смешанным чувством. Подошел к Наташе и Ольге, которые с нетерпением ждали меня. «Ну как?» — «Вроде все в порядке. Отдел восстанавливают. Никто не пострадает». — «Как восстанавливают, а перевод?» — «Переводить не будут, будут восстанавливать. Больше я ничего не мог сделать». У них вытянулись лица. Я отошел к приемной. Оттуда выскочил Бароян, очень возбужденный и довольный, обнял меня, поцеловал, сказал: «Ну, теперь все в порядке, не уходи, поедem вместе, я тебя подвезу, по дороге все обсудим», — и ушел обратно в кабинет. Вскоре он вышел, и мы поехали в его «Волге» на бывшую Калужскую заставу, где он жил в полукруглом доме с правой стороны, который после войны строил Солженицын. Он был очень оживлен и доволен. «Ну, хватит обид. Не будем вспоминать. В десять дней — сразу же после Нового года всех пропустим. Подготовь мне предложения, как назвать отдел и как изменить его структуру. Ты ведь хотел разделить вирусологическую лабораторию на две. Это я делаю». Такое разделение было действительно крайне желательно, и я раньше говорил о нем Барояну. «Приходи завтра с утра прямо ко мне с предложениями». Тут мы подъехали к его дому, он ушел, а шофер подвез меня до метро.

Я никак не мог трезво оценить того, что произошло. Когда я приехал домой и рассказал Эле о решении президиума, она высказалась однозначно: «Ты не выдержал. Они тебя предали, выдали на расправу Барояну. Теперь он всех вас сожрет, и вы ничего не сделаете. Второй раз заявление не подашь — это смешно, и второй раз вся Москва за тебя не встанет. Ты сам виноват, и ты сам предал всех своих. Ты ни в коем случае не должен был соглашаться».

До меня начала доходить справедливость этих слов, но я просто физически не мог (вернее, не хотел) с ними согласиться. Тут же я пошел звонить от соседей Юре Васильеву. Юра ждал известий. Когда я ему рассказал о результатах президиума и Элиной оценке, он мрачно помолчал и сказал: «Они оставили тебя в банке со скорпионом. Скандал потушили, ничего не отменили. Эля все тебе правильно сказала. Впрочем, может быть, ты и не мог ничего с ними сделать». Во мне все опустилось. Мне становилось все безразлично. Если я всех своих предал, и они ко мне так относятся, то как мне жить? Теперь меня интересовало только это. Как же наши относятся к решению президиума и ко мне? Мне было страшно встретиться со своими, но хотелось увидеть их как можно скорее.

Вскоре в дверь позвонили. Пришли Наташа и Таня. Увидев, что я им очень обрадовался, они, смущаясь, сказали, что приехали многие наши и ждут на улице.

²⁰ Впоследствии хорошо известный в связи с судьбами диссидентов.

Мы всех привели домой, и я как-то начал чувствовать, что хотя никто и не считает, что дело кончится хорошо, но никто вроде бы и меня не винит. Я подробно рассказывал, как все было, желая больше всего услышать, что ничего другого я сделать в этой ситуации не мог. Никто меня как будто не винил, но, может, только из хорошего отношения, а не по существу? Это меня теперь и мучило больше всего. Я понимал, что должен был сделать больше, но действительно не знал — как.

Пришел Татаринцов. К нему наши отнеслись отчужденно. Он согласился, — а человек он был опытный в таких делах, — что жизнь теперь будет трудная, и Бароян все сделает, когда дело стихнет, чтобы отомстить нам.

Я не чувствовал осуждения со стороны своих сотрудников, и это тогда было для меня самым главным. Но я боялся, что оно есть или будет.

Ситуация переходила в новую, более опасную стадию. Теперь надо было вновь изыскивать любой повод для перехода в Институт онкологии.

Когда все разошлись, и особенно на следующее утро, я почувствовал, что начинаю сходить с ума. Предал я или нет? Мог ли я сделать так, чтобы переломить ход президиума? Как встретят меня в отделе? Я не мог оставаться один, не находил себе места, но и не мог, физически не мог встречаться с людьми. Особенно с посторонними. Утром пришел в лабораторию, тоже не находил себе места, все время искал признаков осуждения или, наоборот, согласия, что по-иному я сделать ничего не мог.

Был у Барояна — написал ему заявление, что «ввиду решения президиума о восстановлении отдела прошу считать мое заявление от 22.12.71 недействительным». Он гарантировал, что все будет сделано быстро и без эксцессов. Я пообещал ему собрать сотрудников и подать на конкурс (срок уже вышел) — тоже без эксцессов. (Это было самым тяжелым.) Он хотел прийти к сотрудникам сам, но потом передумал.

Собрал коллег. Рассказал о решении президиума, о том, что отдел будет восстановлен. Я не сомневался, что так и будет, но ожидал мести — в случае сокращений (вполне законных) или новых острых ситуаций. Просил всех подать на конкурс, передал заверения президиума. Просил, чтобы не было лишних разговоров, — дирекция и так в сложном положении. Многие, особенно из вирусологической лаборатории, радовались — ведь в случае перехода они оставались в институте. Но и не очень верили, что отдел восстановят.

Борьба вступала в новую, затяжную и скрытую стадию. Я не верил в возможность благополучного исхода.

По-прежнему самым трудным было общение с людьми. Я мог оставаться только среди своих. Когда меня в институте потихоньку поздравляли «с победой», мне становилось не по себе. Сотрудники решили отправить меня в отпуск, я не сопротивлялся — был полностью выбит из колеи. Достали две путевки в Звенигород — сразу же после Нового года. Но мне надо было еще пойти на семинар, объясниться с Гельфандом — мне просто необходимо было знать его мнение, и я ждал этого почти со страхом, как приговора. Нужно было еще объясниться с Блохиным и оставить хоть какие-то надежды на дальнейшее.

На семинаре не смотрели на дело так мрачно. Вадим Агол даже сказал, что совсем не ожидал такого оборота дела и что это, пожалуй, самое лучшее решение, хотя мне надо быть осторожным с Барояном.

Васильев смотрел более мрачно и говорил, что надо хотя бы получить письменное решение президиума, а то вообще будто ничего и не было. Гельфанд был мрачен и удручен. Он просил меня рассказать все факты, со всеми деталями. Долго думал, переспрашивал, потом сказал: «У них все было предreshено. Вы ничего не могли изменить». А на вопрос, что будет дальше, он сказал: «Бароян, если не идет, сейчас все восстановит, а дальше — смотря по ситуации. Если будет ухудшение

общей ситуации, то он возьмется за свое». Это был, я думаю, очень верный прогноз, а общая ситуация была неустойчивой и все время ухудшалась.

Да еще истекал срок нынешнего президиума, а новый президиум ни к чему не был бы обязан.

Срок Барояна тоже истекал, но раньше, и многие думали, что если бы скандал не окончился, то он не остался бы директором.

Блохину я позвонил 30-го — он не считал вопрос решенным, не верил, что отдел восстановят, и полагал, что переход просто откладывается на некоторое время.

Неделя эта — после президиума и до Нового года — была тяжелой. От сухих пустяков я то погружался в отчаяние, то приходил в возбуждение. Внутри все вертелось вокруг одного — мог или не мог сделать по-другому? И всюду искал подтверждения, что не мог.

В эту неделю появилась поэма Коли Каверина «Слово о полку Игореве», в которой характеры были точными, ситуация — довольно близкой к действительности, тонкий и хороший юмор. Поэма ходила по Москве, мне же было не до смеха.

Под Новый год мы собрались у Ольги Лежневой и пожелали, чтобы и в случае новых испытаний мы могли бы с чистой совестью смотреть в глаза друг другу. Ося нарисовал хорошую и смешную газету, где Арон Евсеевич рассказывал свою притчу.

Наступила пауза в развитии событий.

В чем был их смысл?

* * *

Я возвращаюсь к этим запискам ровно через год — в 1976 г. Писание мое было прервано радостным для меня событием. В середине сентября 1975 г. пришло письмо от президента Института по изучению рака в Нью-Йорке о присуждении мне одной из первых премий по иммунологии рака, учреждавшихся с 1975 г. В первую группу награжденных входили такие ученые, как Горер, Клейн, Шогрен, Олд и Бойс, Гросс, Хюбнер, Фоли, Хенле — классики в нашей области. Мне было чрезвычайно приятно оказаться в такой компании, тем более что я не только ничего для получения этой премии не предпринимал, но даже не знал о ее учреждении. Вручать премию должен был один из Рокфеллеров на специальной церемонии в Нью-Йорке, куда меня и приглашали. Я понимал, что за премией меня не пустят, что начальство — и институтское и министерское — постарается сделать вид, что ничего не случилось, что «незапланированная» премия вызовет лишь раздражение, и вся эта история кончится скорее всего скандалом и нарушением и без того совсем не прочного равновесия.

Меня это нисколько не расстраивало — наоборот, было интересно, как начальство будет выходить из положения, и очень радовал сам факт получения премии.

Всё так и получилось, как можно было ожидать, со многими очень характерными для нас эпизодами, о чем стоило бы рассказать отдельно, — но сейчас я вернусь к прерванному изложению событий начала 1972 г.

Тогда, в самом начале 1972 г., было совсем не ясно, что же на самом деле произошло: выдача нас на съедение Барояну или действительная поддержка и восстановление отдела при обеспечении Барояну приличного отступления. Я думаю, что ни мы, ни Бароян не могли точно оценить ситуации, да и она могла развернуться по-разному. Прежде всего из-за того, что в марте уже истекал срок полномочий президиума и президента АМН, а для нового президента и президиума прежние решения реального значения иметь не могли. Да и трудно было надеяться на активность старого президиума, если Бароян начал бы «есть» нас постепенно и по частям. Это ведь в компетенции директора.

Теперь надо было терпеливо ждать новых событий и быть к ним готовым. Постепенно я всё больше убеждался в одном: никакой игры я вести не буду, никаких хитрых ходов и дипломатии. Любой повод буду использовать, чтобы вслух, при всех и прямо говорить что думаю. Чем хуже сложится ситуация — тем лучше. Каждое обострение и каждый повод должны быть использованы для перехода к Блохину. Любой ценой надо вырваться от Барояна. Боялся я лишь того, что Бароян не даст поводов, пока всё не стихнет. Я был уверен, что он спокойно проведёт переизбрание сотрудников на новый срок, быстро восстановит отдел, слегка изменив его название, даст время страстям улечься, подождет переизбрания президиума, а потом уже возьмётся за своё и будет «есть» нас аккуратно и по закону.

Надо было набраться сил, терпения и ждать — ждать и стоять на своем.

События же шли своим чередом. Нам предстояло избрание по конкурсу. Обещанные на президиуме десять дней давно прошли, шел к концу январь, а конкурса все не было. В конце января состоялось общеинститутское собрание с отчетом дирекции о работе института в 1971 г. и дальнейших перспективах. Докладывал замдиректора Д. Р. Каулен, а Бароян, как большой патрон, вел собрание. Доклад был гладкий — все хорошо, все благополучно, сплошные успехи, постоянная забота дирекции о развитии института. Немного общих слов по реорганизации в институте — и ни слова о наших делах.

В докладе, между прочим, было сказано, что вышли четыре монографии, правда, все — написанные нашим директором.

После доклада началась обычная «баланда». Выступала Вершилова, потом Кудлай. Понять, что говорила Кудлай, было невозможно — ясно было одно: что она очень предана дирекции. Ни слова не было сказано о том, что происходило у нас. Все шло очень мило. Бароян улыбался, острил, комментировал выступления. Зал был почти полон.

Я остро почувствовал, что выступать надо сразу же после Кудлай, что после ее словесной каши спокойные и разумные речи дойдут до всех, — и попросил слова.

Сначала я внес некоторые фактические дополнения. Помимо четырех упомянутых в докладе монографий, в 1971 г. вышла и книга Зильбера «Избранные труды», подготовленная его сотрудниками.

В 1971 г. началось производственное изготовление иммунодиагностикума на рак печени, но статья, посланная в «Медицинскую газету» для информации врачей о новом методе и препарате, куда-то сгинула.

Начата работа по производственному внедрению австралийского антигена — одного из самых перспективных диагностикумов для предотвращения сывороточного гепатита, обычного спутника переливания крови. Об этом тоже не было сказано в докладе.

В докладе упоминалось о реорганизации структуры института. Очевидно, что институт развивается, возникают новые задачи, новые связи, и структура должна приводиться в соответствие с фактическим положением вещей. Цели реорганизации должны быть ясны каждому, кого она касается. Тогда каждый сотрудник сможет активно в ней участвовать и внести в нее свой разумный вклад. Но та реорганизация, которая уже третий месяц идет в нашем отделе, совершенно непонятна ни мне, ни сотрудникам отдела. Мы не понимаем ни целей, ни смысла того, что делает дирекция с отделом. Это лишает сотрудников чувства стабильности, уверенности в том, что если они отдадут все работе и институту, если они делают нужное дело, то их положение стабильно и прочно. Чувство стабильности нужно всем, но особенно оно необходимо научным работникам, которые планируют эксперименты на годы, которые работают с длительной перспективой. Без стабильности не мо-

жет быть настоящей исследовательской работы, особенно в области онкологии. Однако оказалось достаточным изменить по одному слову в названиях лабораторий, чтобы все сотрудники оказались уволенными и лишь «временно трудоустроенными» — сотрудники, работающие в институте по многу лет и получавшие только одобрение за свою работу. Это подрывает нашу стабильность, нашу уверенность. В чем смысл этой реорганизации? Способствует ли она успешной работе? Может быть, дирекция разъяснит нам свою позицию?

Все это я сказал очень ровно и спокойно.

Все слушали с абсолютным вниманием и в полном молчании.

После меня выступали профессора Кучерук, Засухин, Олсуфьев и еще кто-то. Все трое — хорошие ученые и вполне порядочные люди.

Засухин, старый уже человек, горячо требовал организации в институте службы информации.

Кучерук что-то говорил о своих впечатлениях о Чехословакии — как там серьезно к чему-то относятся.

Олсуфьев — тоже о чем-то постороннем.

Моего выступления как будто не слышали — наоборот, усиленно заглаживали мою «бестактность» и демонстрировали свою лояльность дирекции.

Никто ничего не услышал. Никто не сказал ни слова. И только Бароян, закрывая заседание, заговорил об этом. Он процитировал Шекспира — по-моему, из «Короля Лира» — в том смысле, что он выше неблагодарности, и, заявив, что «дело не в вашей работе, а в вашей антипатриотической позиции», тут же закрыл собрание. Я бросился было кричать ему с места, но меня сразу же блокировали Вершилова и кто-то еще, а Бароян удалился. Недавно, читая о космополитической кампании 1947–1948 гг., я встретился с этим термином — антипатриотическая позиция — и вспомнил, что он означал. Он ведь тогда употреблялся как формула, равнозначная «безродному космополитизму»! Бароян выразился очень точно.

Послесловие (1992 г.)

С января 1972 г. начался новый этап борьбы с отделом со стороны директора и за переход в Институт онкологии — с моей.

Мой принцип был — чем хуже по отношению к нам, тем лучше для перехода. Я старался не пропускать ни одного выпада в наш адрес и как можно резче отвечать на них.

Конечно, Бароян не выполнил ни одного из своих обещаний — он тайно подготовился и провалил на выборах И. Н. Крюкову, удержал на грани провала Б. Д. Брондза и И. Б. Обух. Отдел был восстановлен приказом президента в марте 1972 г. Но против меня было состряпано тайное «политическое дело» о моем мнимом походе в Президиум Верховного Совета с требованием отдать Крым евреям. «Дело» было создано секретно (по линии КГБ), так что я ничего о нем формально не знал и возразить не мог. Оно было доведено до сведения министра здравоохранения СССР и президента АМН. Мое восстановление как руководителя отдела не состоялось. Бароян смеялся: «Как это они восстановили отдел без заведующего? Разве так бывает?» Хорошо, что В. Д. Тимаков, человек здравого смысла, «делу» не поверил — он сначала через своих сотрудников проверил свои сомнения, потом поговорил со мной: «Я приехал из Польши, а на столе у меня лежат материалы на тебя, что ты ходил с группой евреев в Верховный Совет требовать отдать евреям Крым. Я подумал — зачем тебе нужен Крым? Если бы мне сказали, что ты собираешься в Израиль, — я мог бы поверить. Здесь с тобой несправедливо обошлись, ты

со своей головой там не пропадешь. Я просил своих людей проверить и убедился, что это ложь. Я не спущу этого твоему».

Через некоторое время Бароян вызвал меня к себе и разыграл в кабинете сцену возмущения, — рассказав, какую клевету на меня возвели; он якобы звонил по телефону в районное КГБ с протестом: «Они должны охранять наших ученых от лжи, а не возводить на них клевету!»

Что касается И. Н. Крюковой, то после того, как по тайному решению партбюро она без единого замечания в свой адрес была забаллотирована Ученым советом, Бароян заявил: «Она на коленях приползет в мой кабинет и будет умолять меня, чтобы я оставил ее в институте».

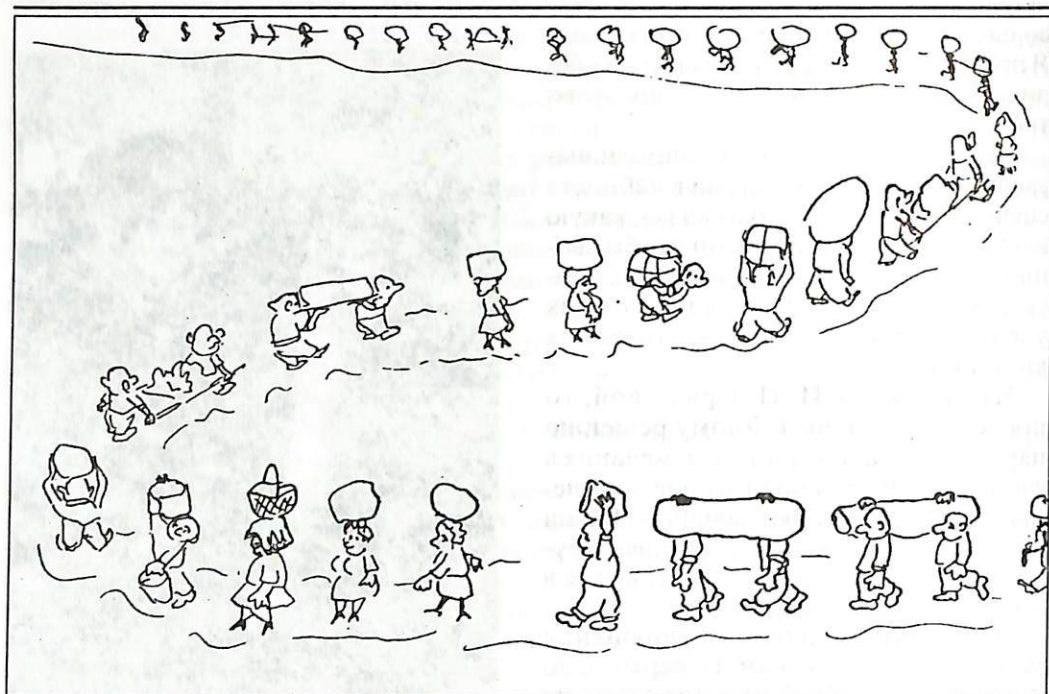
Волна возмущения и отвращения поднялась снизу до самого верха — до Академии. И. Н. Крюкова была не просто восстановлена: бывшая зильберовская лаборатория была разделена на две — наиболее сильная ее часть выделилась, и И. Н. Крюкова стала ее руководителем. Она оставалась на этой должности с 1972 по 1990 гг., вплоть до перехода в консультанты.

Но, несмотря на все это, после 1972 г. мы находились под «прицельным огнем» директора, в изоляции от зарубежных коллег, полностью «невыездные», виновные даже в получении международного признания. А интерес научного сообщества и беспокойство за нас стали просто демонстративными — это выражалось и в публикациях, и в премиях, и в письмах, и в «прорывах» в институт при посещении страны. Все это «подливало масло в огонь», и, наконец, после безобразного скандала при посещении отдела официальной американской делегацией, В. Д. Тимаков быстро и решительно перевел нас в строящийся

Онкологический научный центр. В три дня большой отдел — с животными и оборудованием был на новом месте. Через неделю или две был поставлен первый на новом месте опыт. Это было в конце июня 1977 г. Начался новый этап нашей жизни — отнюдь не простой и гладкий, но уже вдали от края пропасти.



Проф. В. Фишмен и проф. С. Селл вручают отсутствующему Г. И. Абелеву награду Международной группы онко-оперативных белков. Лакойя (США), 1976 г.



Исход в Онкоцентр (1977 г.). Рисунок И. С. Ирлина

Хочу еще сказать, что все это время, в 1972–1977 гг., мы много работали — и не просто, а с жадностью и, как мне кажется, сделали ряд важных вещей²¹.

И в заключение я хотел бы понять, был ли смысл в этих событиях, или это была пустая игра — на ровном месте? Иногда мне говорят, что ничего по существу не было, что Бароян нам ничего не сделал и не сделал бы в любом случае, что он так «поиграл», «пошекотал», что никто ведь не пострадал и что всё у нас осталось как было.

На первый взгляд, или с позиций простого здравого смысла, происходила полная нелепица. Работающий на полном ходу отдел расформировали и выбили из колеи — отдел, который всегда был украшением института, который не был в оппозиции к директору и не стоял ни у кого поперек дороги. Никто не собирался воспользоваться нашим помещением, или оборудованием, или нашими сотрудниками. Никто не был заинтересован ни в изменении нашей тематики, ни, тем более, в остановке работы. Совершенно очевидно, что я в качестве заведующего никак не угрожал позиции Барояна ни в настоящем, ни в будущем. Ясно, что «смысл» этих бессмысленных событий не определялся научной или административной необходимостью. По существу, Тимаков был совершенно прав, не переводя нас к Блохину. Срывать громадный и работающий отдел с места, втискивать его в занятые помещения, снова оборудовать, а потом снова переезжать, когда будет закончено строительство Центра, — в этом не было абсолютно никакого смысла. Но он, че-

²¹ Абелев Г. И. Школа Льва Александровича Зильбера в вирусологии и иммунологии рака // Онтогенез. 1990 г. № 6. С. 653–665.

ловек умный и многоопытный в делах подобного рода, не мог не понимать и того, что рабочая атмосфера в отделе важнее помещений и что оставлять нас в институте очень рискованно. Тем не менее он нас там оставлял и упорно уклонялся от перевода. Он говорил, что не хочет разорять институт. Видимо, это была чистая правда. Он говорил, что необходимо остановить самоуправство Барояна. Я думаю, что это его противоборство с Барояном, возникшее независимо от нас, было еще более важной причиной его нежелания переводить нас к Блохину.

Но, вероятно, еще важнее для президента было сохранить внешнюю благопристойность и спокойствие в Академии, ибо любой — полный или частичный — переход наш в другой институт вывел бы скандал из разряда внутриинститутских тренировок и сделал бы его признанным фактом более крупного масштаба. Линия поведения Тимакова была последовательна и понятна.

Как же можно объяснить линию поведения Барояна в этих событиях? Мне кажется, что их сутью было столкновение его стремления к полной и безоговорочной власти с нашими попытками отстоять свое человеческое достоинство.

В норме власть нужна человеку для чего-то — для воплощения своей идеи, для независимости в действиях, в разумности которых он уверен. В одном серьезном американском «Руководстве для руководителей» приводится анкета для тех, кто стремится к власти. Первый вопрос анкеты — какова ваша цель? Авторы рекомендуют сразу же отказаться от идеи руководства, если претендент затрудняется с ответом на этот вопрос.

По моим впечатлениям, стремление Барояна к власти не имело никаких целей, — это чистое властолюбие, чистое упоение властью. Она — ни для чего. Никаких научных идей, которые он хотел бы реализовать, видно не было. Человек он живой и умный, очень энергичный, наблюдательный и довольно хорошо чувствующий людей. Он много вращался в научных и околонаучных кругах и умел говорить разные «научные слова» из широкого репертуара. Правда, стараясь не касаться конкретных вещей. Собственно наука совсем не его сфера.

И все-таки он мог бы быть хорошим директором. Он понимал, что главное — дать работать способным людям, не ограничивая их заданными рамками, что надо полагаться на самих ученых, что планирование науки — бессмысленно. Он умел верно оценивать людей, часто опираясь, как мне кажется, на мнения иностранных ученых.

Он любил говорить на глобальные темы, о мировой политике — считал это своим настоящим призванием и, по-видимому, больно переживал, что его, как «инородца», далеко не пускают вверх.

Бароян мог говорить на одном языке и с ученым, и с карьеристом, и с КГБистом, и с доносчиком. Он мог быть обаятельным и даже интеллигентным; он хорошо говорил по-английски и знал восточные языки.

Повторяю, он мог бы быть хорошим и, может быть, даже очень хорошим директором, — как, вероятно, можно быть директором Большого театра, не будучи ни певцом, ни балериной, ни музыкантом. Но для этого нужно быть директором-администратором. Именно в этой роли и видел его, возможно, Лев Александрович, когда продвигал его на должность директора института, поддерживал и ввел в Академию. А Бароян на первом этапе своего восхождения очень удачно исполнял эту роль. Но недолго. Главным для него была власть, власть беспредметная, бесцельная, самая примитивная, власть сама для себя. Властью он наслаждался. Со всеми он говорил «на ты» — разумеется, только в одну сторону. Ничего в институте не должно было делаться помимо него, вплоть до мелочей. Обо всем надо было его просить. Всё, что ученый получал, — прибор, комнату или ставку — он должен



*На заседании экспертной группы ВОЗ по иммунологии.
За председательским столом слева направо: зам. генерального директора ВОЗ О. В. Бароян
(читает приветствие), Л. А. Зильбер, Г. Гуомэн. Женева, 1964 г.*

был получать «с руки» Барояна, прося, благодаря, — и невольно усваивался хопский тон, насаждаемый директором. Особенно наслаждался он своей властью над большими учеными — членами Академии, заведующими отделами. Он изводил их мелкими придирками и бестактностью (например, требовал ежедневного прихода на работу, регистрации ухода из института в рабочее время), отказами по самым мелким вопросам. Он старался ставить их в смешное положение на Ученых советах, систематически поддерживал внутрилабораторные распри, откровенно грубил им, демонстрируя свое превосходство. При переезде в новое здание (октябрь 1966 г.) он доводил Льва Александровича до бешенства, отказывая ему в лишней комнате, в каждой просьбе. Тимакова с его отделом он заставил въехать в необорудованные ещё помещения.

В своем стремлении к личной власти Бароян всегда опирался на постоянную тенденцию к всеобъемлющему государственному контролю над личностью. Он всегда оперировал лозунгами сегодняшнего дня, всегда выступал от имени партии и государства, и всегда — в одном направлении: подчинить, сломить, поставить в зависимость.

Когда он разгонял реакционную, «махровую» часть института, он «работал» в хрущевском стиле. Когда добивался независимости от академических властей, — основной упор делал на международные научные связи, очень модные в то время (1965–1968 гг.). Теперь же, когда международные связи — единственное, что ограничивало его произвол по отношению к ученым института, он рвал эти связи самыми грубыми методами, опираясь при этом на модный государственный лозунг о «невмешательстве во внутренние дела» и о том, что «никто не имеет права диктовать нам, как мы будем строить международные контакты». Когда во внутренней оппозиции (чисто случайно) оказались преимущественно евреи, он сам — отнюдь не антисемит — развил самый махровый антисемитизм, «создав» в институте «сионистское гнездо» — совершенно в стиле 50-х годов. Я думаю, что главная особенность его стиля — почувствовать тенденцию дня и выйти на полшага вперед, что-

бы назавтра оказаться самым передовым. На этом, впрочем, он и «прогорал» в последние годы, главная тенденция которых — никаких резких движений, никаких шумов и скандалов: зажим должен быть медленным, постепенным, тихим «замуровыванием», но надежным и необратимым. Излишняя живость здесь противопоказана, и Бароян, утративший в последние годы гибкость, своей активностью, хотя и в нужном направлении, раздражал большое начальство. Он перестал быть «современным» и стал часто попадать впросак.

Барояновский стиль в институте всегда коробил нас, работавших в отделе Льва Александровича совсем в иной атмосфере — открытости, творчества, взаимного уважения. За 16 лет работы с Л. А. я никогда не слышал от него «ты», хотя был вдвое младше его, и не слышал, чтобы он к кому-нибудь из сотрудников или персонала обращался на «ты», даже к Зинаиде Леонидовне Байдаковой или к Николаю Васильевичу Нарциссову, с которыми он работал с незапамятных времен. Никогда его резкость и категоричность даже не граничили с грубостью или унижением. Я никогда не слышал, чтобы он грубо выругался, пошло сострил или польстил кому-либо. Духовный аристократизм был в его натуре, и все мы очень любили в нем это.

Стиль Барояна поначалу казался нам смешным и пошлым, потом мы мало-помалу начали мириться с ним как с платой за «благодетения» — разрешение взять нового сотрудника или содействие в заграничной командировке, да и вообще как с принятым тоном отношений с директором. Мы посмеивались, иронизировали, внутренне коробились, но не сопротивлялись, считая это мелкой «данью» за независимость в самой исследовательской работе. Правда, в барояновских интригах мы никогда не принимали участия. Впрочем, он пользовался нами и без нашего участия — и внутри, и вне института. Однако это мы сознавали смутно.

Впервые Бароян столкнулся с серьёзным внутренним человеческим сопротивлением в «деле Гурвича». Это было не конъюнктурное или интрижное сопротивление, а достойная человеческая позиция, от которой Арон Евсеевич не отступал. Тогда, опираясь на партийные и государственные установки, на прямое участие президента, академика-секретаря, аппарат Академии, Ученый совет и парторганизацию института и даже на нашу и мою помощь (так как мы любой ценой стремились «спасти» Гурвича, уговаривая его написать, что он «совершил политическую ошибку»), — он сумел преодолеть это сопротивление, хотя с очень большими усилиями и чисто формально. Второй раз сопротивление возникло в ответ на его антисемитскую игру и разрослось в события, о которых я рассказываю. Их суть, как я говорил, в столкновении неумного властолюбия и простого человеческого достоинства, получившего поддержку целого коллектива — история, всколыхнувшая волну общественного мнения едва ли не всей научной Москвы.

Я хочу верить, что эта волна возмущения и поддержки нашего сопротивления была одним из компонентов более широкого сопротивления, остановившего волну антисемитских акций, быстро распространявшуюся в то время. Я хочу также надеяться, что наши события, совершенно независимо от их практического исхода, показали возможность сопротивления с нормальных человеческих позиций, вопреки общепринятому тогда мнению о полной бессмысленности подобного поведения.

За критическое прочтение рукописи и большую помощь в работе над окончательным текстом статьи хочу поблагодарить мою жену и участницу описываемых событий Галину Исааковну Дейчман.